

АНДРЕЙ УБОГИЙ

## НА СЧАСТЛИВОЙ ЗЕМЛЕ

### I. НАШЕСТВИЕ ВАРВАРОВ

*Жизнь это бой, пребывание в чужой стране.*

Марк Аврелий

Летим второй час. Стюардесса уже принесла синтетический завтрак – эх, скорей бы дорваться до настоящей итальянской еды! – и скоро внизу, под крылом, стали видны морщинисто-бурые, как лицо старика, хребты и долины Балкан. Взгляд на всё это сверху – ещё и подкреплённый всем тем, что пришлось прочитать и обдумать перед путешествием, – наводит на мысль о счастливых и несчастливых народах.

Как мы знаем, счастливых и несчастливых людей, первые из которых как будто магнитом притягивают удачу, а вторые – не менее сильным магнитом – беду, так и судьбы народов бывают удивительно разными. Сравните, к примеру, балканских славян или греков – со счастливыми-итальянцами. Славяне на Балканах, изнывая четыреста лет под владычеством турок, пережили такое количество горя и бед – что вообще удивительно, как горемычные эти народы сохранили культуру и веру, язык и живую, пусть и окрашенную трагизмом, радость существования. А итальянцы – те словно в рубашке родились. Обитая поблизости – через Адриатику, – но защищённые со всех сторон морем, а с севера – снежными Альпами, непроходимыми для османских коней (а своего Суворова у турок, слава Богу, не оказалось), – итальянцы всегда жили, что называется, как у Христа за пазухой. Земля щедра, как в раю, климат тепличный, характер у самих итальянцев отходчиво-лёгкий, весёлый: ну, что ещё нужно для полного счастья? Последние шестнадцать веков они, кстати, не очень-то и сопротивлялись иноземным вторжениям, предпочитая спокойную жизнь беспокойной мороке под названием “борьба за независимость”.

И лишь когда оставаться раздробленной, слабой стало совсем уже неприлично – лишь во второй половине девятнадцатого столетия! – Италия, наконец, кое-как собрала себя в целостно-суверенное государство. Зато, не изнурённая войнами, она сохранила здоровье и силу – да ещё сберегла те бесчисленные культурные памятники, доходы от посещения которых туристами составляют весомую часть бюджета страны. Это надо же так ухитриться: собрать на своей территории 60% культурного наследия планеты! Можно сказать, *контрольный пакет* мировой культуры – в руках итальянцев.

Как же они не счастливы? Пока народы Балкан и Руси, с одной стороны, а испанцы – с другой сдерживали мусульманский напор на Европу, Италия процветала и веселилась, словно балованное дитя в большой европей-

ской семье. К ней всегда и относились, как к ребёнку, со сложной смесью снисходительного презрения и глубинной любви к этому жизнерадостному и живописному, шумному, взбалмошному и такому живому народу. Ни в одну страну мира европейцы не стремились так, как сюда. Ещё в XVI веке англичане заложили традицию *grand tour* – многолетнего путешествия по Италии. И доселе зов итальянской культуры, истории, кухни и моды звучит, не смолкая, для всех европейских народов.

Но, думаю, самым глубинным мотивом, который зовёт в Италию миллионы людей, является всё же иное: это стремление к счастью – или, точнее, стремление увидеть страну счастливых людей. Ведь это такая редкость и чудо – счастливый народ на счастливой земле, – что подышать этим воздухом счастья уже есть великое благо и милость судьбы. Недаром Гёте – сам редкий счастливец – писал: “Человек, побывавший в Италии, уже никогда не будет вполне несчастен”. А Пушкин, наш высший авторитет, свое представление о счастье формулировал так: “Говорят, что несчастье хорошая школа; может быть. Но счастье есть лучший университет”.

Вот мы и летим в Италию – за высшим, можно сказать, образованием, высшей наукой: умением быть счастливыми здесь и теперь, умением не отодвигать своё счастье куда-то в туманную даль будущего или прошедшего, а жить внутри счастья, как рыбы живут в воде.

Первый запах, который нас встретил в Италии, был, разумеется, запахом кофе: он пропитал собой всё небольшое здание аэропорта Римини. А первым встреченным здесь итальянцем был Федерико Феллини. Его фотографии смотрели на нас со стен вперемежку с афишами культовых фильмов, и мысленный возглас: “Здравствуй, Феллини!” – был первым, что я произнес на итальянской земле.

А вот то, что я сказал потом вслух, было, по сути, паролем – то есть тем, что говорит почти каждый, прилетевший сюда. Поймав взгляд барменши за стойкой, я с усердием первоклассника проговорил: “*Buon giorno, signora! Un caffè, per favore*”. Отзывом на мой неуверенно-робкий пароль была сияющая улыбка, чашка эспрессо и нежно-грудное: “*Prego!*”.

Ну, что же: нас пропустили в Италию, страну счастья, – и то, что долгие месяцы было мечтой, начинает, наконец, сбываться. Тайна счастья – столь же недостижимая, как черта горизонта, – вдруг начинает казаться доступной и близкой, такой же реальной, как, например, эта чашка пахучего кофе с коричневой пенкой – или четкие контуры пиний на яркой, пронзительной, как поцелуй, синеве...

Что поразило и в тот, первый день – да и в несколько следующих дней итальянского вояжа? Это множество иностранцев-туристов, которые съехались сюда со всех концов света, чтобы своими галдящими толпами и вспышками фотоаппаратов оглушить, ослепить, заморочить друг друга и нас, трёх туристов из русской Калуги. Экскурсанты заполнили весь старый Рим (а первые трое суток мы провели как раз в Риме); у знаменитых фонтанов трудно было протолкаться к воде, чтоб напиться; очередь к Ватиканским музеям растянулась – чтоб не соврать – километра на два. А забастовка автобусов – та вообще превратила центр Рима в какое-то невероятное сборище праздновавшихся, радостно взвинченных, вольно одетых людей, сжимающих в одной руке путеводитель, в другой – фотоаппарат, а глазами шаривших по фасадам и обелискам с таким ошалевшим азартом, с каким мы, случается, ищем грибы в лесу.

“Да что же это за вавилонское столпотворение?!” – раздражался я поначалу, ступая по чьим-то ногам и толкаясь плечами. От этой всемирной толпы никак не удавалось ни отделаться, ни отрешиться. И вдруг меня осенило. “Да это же, – догадался я, – второе нашествие варваров!” Ну, конечно: история повторяется вновь, уже с пародийно-комическим переполюсом того, что здесь, в Риме, творилось полторы тысячи лет назад. Кто мы для римлян, как не варвары, чужаки, обитатели диких, далёких окраин почти неизвестного римлянам мира? Наши орды ворвались на улицы Вечного города, затопили подножья холмов, скаты лестниц, припали сухими губами к воде лучших в мире фонтанов. Да, Рим снова пал под натиском туристических толп – как когда-то под натиском гуннов или вандалов.

Только теперь всё наоборот: не мы грабим Рим, как когда-то, а он грабит нас. Мы не крушим римские статуи и не разрушаем дворцов, напротив,

мы поклоняемся им. Словно мы решили принести покаяние за то разграбление Рима, что совершилось когда-то, в эпоху великого переселения народов. Нет, но какая ирония: город, захваченный толпами “варваров”, сам беспощадно, лукаво и весело обирает “захватчиков”; а они, простаки, ещё и благодарны ему за это!

Правда, есть и другой поворот нашей темы. Рим, охвативший когда-то дорогами-щупальцами весь обитаемый мир, на протяжении многих веков свозил и сокровища, и предметы искусства со всех концов света. Кто-нибудь посчитал, сколько гранитных египетских обелисков возвышается на площадях Вечного города? А сколько греческих статуй, как подлинников, так и их копий, украшают итальянские палаццо и палио? А разграбленный крестоносцами Константинополь? Разве не византийские золото и порфир так украсили Рим и Венецию, что превратили их в красивейшие города мира?

Я уж не говорю о том, что все те чудеса, которым туристы сейчас поклоняются — от терм, мавзолеев, мостов до Форумов и Колизея, от храмов до арок имперских триумфов, — что всё это было создано руками рабов, то есть тех самых варваров, наших далёких предков, которых согнали сюда римские легионы.

Поэтому мы, туристы из сопредельных и дальних стран, смотрим, фотографируем, трогаем и изучаем, в известном-то смысле, — своё. И можно считать те немалые деньги, что мы платим и римлянам, и вообще итальянцам за этот просмотр “своего” — можно считать их платой музейным работникам, тем хранителям и сторожам, что сумели сберечь и представить сегодня нам наше собственное богатство. Ведь надо же нам — то есть нам, человечеству, — иметь где-нибудь планетарный музей, собрание ценностей нашей цивилизации?

## II. ФЛАМИНИЕВА ДОРОГА

*Эх, дороги...*

*Из песни*

Но будем описывать всё по порядку. Сегодня мы едем из Римини в Рим по древней Фламиниевой дороге. Грандиозность того, что называется “дорогами Римской империи”, до сих пор поражает. Невозможно понять: зачем в ту эпоху, когда люди передвигались только пешком или на лошадях, надо было строить дороги такой толщины и надёжности, словно по ним должны были двигаться танки? Разнокалиберные валуны укладывались в четыре слоя — так, что толщина дорожного покрытия достигала метра; когда, спустя девятьсот лет после строительства, средневековый историк исследовал одну из римских дорог, он сказал: “Ни один камень не пошатнулся”.

Так и кажется: эти дороги строили не обычные люди, а какие-то инопланетяне. Но больше всего поражает не прочность, не качество римских дорог, не система водоотводов, не путевые столбы с указанием расстояний до Рима — поражает забота о людях, что шли по этим дорогам. Это надо же: по обочинам высевался особый сорт мягкой травы, чтобы путник мог подложить её в обувь!

А как объяснить вот такой удивительный факт: дорога, которой мы едем, максимально выровнена по горизонтали? Хоть мы и пересекаем центральную, холмистую часть Апеннинского полуострова, но не замечаешь ни явных подъёмов, ни спусков: мосты и тоннели, которых здесь множество, держат дорогу на одном уровне, не давая ей ни спускаться в овраги, ни забираться на склоны холмов. Даже по звуку мотора слышно, что водитель вообще не переключает скорости: мотор гудит монотонно, и автобус катит по ровной, ничем не нарушаемой горизонтали.

Но насколько же усложняло строительство вот такое спрямление дороги! Лишь если дорога строилась на века — тогда были оправданы немалые эти затраты на сооружение десятков, если не сотен, мостов и тоннелей. Конечно, когда нет крутых подъёмов и спусков, покрытие не оползает, дожди и снега меньше портят дорогу, да и аварий — на ровном-то месте — должно быть значительно меньше.

Так что, судя по здешним дорогам, итальянцы мыслят веками; а вот мы с вами, судя по российскому бездорожью, не думаем о времени вообще.

У нас даже свежепроложенная дорога уже через год выглядит так, словно её нещадно бомбили. И это тем более поразительно, что для русских “дорога” — одно из важнейших, сакральных понятий. Трудно найти хоть одну русскую песню, в которой бы не упоминалась дорога. Можно сказать, что дорога есть русский символ, есть главное в нашей стране и в нас с вами. Но отчего же тогда так чудовищны, так невозможны дороги России?

Дороги, являясь, с одной стороны, результатом общенародного творчества, с другой — они же формируют и народную душу. Одно дело — из поколения в поколение двигаться по безупречной дороге, наслаждаясь комфортом и скоростью, привычно воспринимая весь окружающий мир как некую организацию, предназначенную для доставления нам удовольствий; и совершенно иное — пробираться по нашим российским дебрям и хлябям, сознавая свою беззащитность, ничтожность пред ликом жестокого и равнодушного мира.

Да, дороги Италии очень удобны — как удобны характер и жизнь самих итальянцев. Можно сказать, что итальянский менталитет столь же “горизонтален”, как и дороги Италии. Итальянцы на дух не переносят того, что их выбивает из привычно-горизонтального существования. Ни “высо́ты”, ни “бездны” не манят их так, как, к примеру, они манят русских. “Неизменность житейских привычек”, как определял счастье Шатобриан, для итальянцев гораздо важнее мятежных порывов, падений и взлётов души. Всё, что выводит из равновесия и самодовольства, из распорядка удобно сложившейся жизни, итальянцы стараются сгладить, смягчить — точно так, как они выпрямляют дороги, сооружая мосты и тоннели. И жить итальянскую жизнью, похоже, легко и приятно — так же приятно, как ехать по этой отличной дороге, созерцая пейзажи прекраснейшей в мире страны.

Катим по Умбрии. Что ни холм впереди — то и город: со старыми крепостными стенами и впритык поставленными домами песочного цвета, с непременной ратушной башней и куполом собора. Слов нет — красиво. Природа здесь не дика — всюду засеянные поля и дороги, виллы и городки, — но и не истерзана цивилизацией. Хватает и рек, и лесов, и простора. Итальянцам удалось удержат равновесие между природой и человеком — оттого и пейзажи центральной Италии напоминают красиво запущенный парк, где присутствие человека не угнетает, а лишь дополняет и украшает природу.

Но время обедать — и, где-то недалеко от Ассизи, наш автобус притормаживает возле дорожного ресторана. Подробно описывать этот обед я, пожалуй, не буду — хотя лазанья и артишоки оказались отменные, — а перейду сразу к тому, как после обеда наша русская группа томилась и маялась: всем не терпелось снова отправиться в путь. Но водитель куда-то запропастился — итальянцы торопиться не любят, — и нам оставалось только ходить вокруг автобуса, то и дело поглядывая на часы, и с тоскою посматривать на уходящую за горизонт ленту дороги.

Вот тоже загадка: куда мы всё время торопимся? Почему мы не можем спокойно и самодовольно, как итальянцы, наслаждаться текущей минутой, жить “здесь и теперь”, но нам обязательно нужно куда-то стремиться, идти или ехать, расставаться с реальностью настоящего ради призраков будущего? Мы вообще неспособны жить настоящим, ценить и хранить то, что уже имеем; мы постоянно пытаемся отряхнуть, так сказать, прах реальности с наших ног — и готовы с восторгом шагать за мечтой, миражом и химерой.

Уже одно это — неспособность ужиться с реальностью, спокойно жить в настоящем — делает русских неисправимыми революционерами. Тем-то, быть может, и наводим мы ужас на иные народы, что реальность, в которой все прочие более или менее приспособились жить — нам, русским, скучна и постыла. Мы жаждем жизни иной, мы рвёмся к ней, как к единственной нашей надежде и цели; именно эта вот русская вечная неутолённость таит в себе столько опасностей и для нас, и для мира, но и несёт с собой некую (может быть, призрачную) надежду на выход из безнадежного тупика под названием “жизнь”.

Пока мы так рассуждали, водитель вернулся, автобус, гудя и покачиваясь, вновь покатил по дороге, и предчувствие скорого въезда в знаменитейший из городов — Вечный город! — уже наполняло нас особого рода волнением. Или это во мне оживает дух Гоголя, который, возможно, испытывал к Риму любовь более искреннюю и живую, чем к какой-либо из женщин? Так, в финале гоголевской повести “Рим”, когда герой, охваченный страстью к прекрасной Аннунциате, бежит к ней сломя голову, он вдруг оглядывается, видит крыши,

холмы, купола и тёмно-зелёные пинии Вечного города — и забывает в эту минуту восторга и себя, и Аннунциату, и всё на свете... Наверное, так и сам Гоголь, которому не довелось любить женщин, любил Рим, любил со всей глубиной и тоской, на какую способна была его восторженно-сумрачная душа.

Правда, нам Рим открылся не так театрально-эффектно, как гоголевскому герою. Въезд в город с востока почти незаметен. Просто-напросто придорожные строения становятся чаще и выше — и вот уж мы едем не по Фламиниевой дороге, а по римской улице с тем же названием, “Via Flaminia”. Сразу видно, что город живой, обжитой и уютный. Даже по лицам прохожих, по этим ухоженным дамам с собачками и по парочкам молодёжи, бредущим в обнимку, легко догадаться: им здесь хорошо. Да, город стар, кое-где тесен, не всегда безупречно-опрятен, но в нём себя чувствуешь, словно в старой квартире, где, наверное, сами жильцы уж не помнят происхождения и назначения многих комнат, углов и чуланов, но где сохраняется дух векового уюта, дух незапамятно-древней, густой, многослойной, таинственной жизни. Вот уж где, видимо, хорошо себя чувствует *genius loci*, тот “гений места”, который незримо живёт где-то здесь, в переулках и арках, в теснинах дворов, под лепниной тяжёлых фасадов и в плеске фонтанов...

Казалось, что Рим — словно пленник себя самого. Он словно сам себя зачаровал, заморочил, околдовал — да и сам уж забыл: как, зачем, для чего так немислимо-долго он существует на свете? К чему вся эта обветшалая роскошь и камни руин, вокруг которых толпятся туристы, и мрачная тень Колизея, и эти вот чайки, что вьются над крышами и куполами? Да, Рим заложник пороков и роскоши, собственных древних легенд, он пленник каменной мощи и красоты, грандиозный гибрид бальной залы и кладбища, храма, музея и рынка... Воистину, он ворбал в себя всё, что входит в понятие “город”, — и теперь сам не знает: что делать, как быть с этим всем неумным богатством?

### III. ГОРОД ФОНТАНОВ И ЛЕСТНИЦ

*...князь взглянул на Рим и остановился: пред ним в чудной сияющей панораме предстал вечный город.*

Н. Гоголь

Едва мы ступили на римские камни — около Термини, то есть вокзала у терм Диоклетиана, — как Маша из Питера, наш замечательный проводник, предупредила: “И не смейте ходить по Риму без счастливых улыбок — я вам этого никогда не прощу!” До сих пор благодарен ей за этот совет, без которого, может быть, я не понял бы главного об итальянцах и Риме. Действительно, Рим — город счастья: земного, реального. И в Рим нельзя не влюбиться — как трудно не улыбнуться в ответ на радушную, радостную улыбку.

И ещё Рим — город фонтанов и лестниц. Именно эта формула воскрешает, едва её произнесёшь, живые воспоминания о Риме. Вряд ли есть ещё города, так сроднившиеся со своими фонтанами, так ими гордящиеся и выставляющие их напоказ. Фонтаны здесь — ориентиры и центры районов, у них назначают свидания и коротают досуг, их бесконечно рисуют и фотографируют, их водой, наконец, утоляют жажду: всем известно, что лучшая в Италии вода — вода римских фонтанов.

Фонтаны Рима — они очень разные. Вот, скажем, знаменитый Треви с его вычурной пышностью, с толпами разноцветных туристов, что кидают монеты в светло-голубоватые воды, а вот неприметная ржавая трубка, торчащая из стены старого дома: из неё тонкой струйкой сочится вода, предлагая тебе, пешеходу, подставить ладони, напиток да охладить перегретую голову.

Каждый из римских фонтанов достоин не то что отдельного описания — он достоин поэмы; жаль, что я никогда их не напишу. Самые знаменитые — Баркачча, Тритон или, например, фонтан Четырёх Рек на пьяцца Навона — сами по себе уже есть поэмы из камня, воды, бликов света и брызг, из гомона разноречивых туристов, из тех легенд, что окутали каждый фонтан, словно незримое облако.

В той поэме, которая никогда мной не будет написана, я не забыл бы и о фонтане Черепах: то, как он неожиданно открывается пешеходу, бреду-

щему в каменных проймах римского гетто, — открывается солнечной, ярко-весёлой поляной, с журчаньем воды, игрой солнца на струях и с той удивительной лёгкостью всей композиции, где даже черепахи похожи на птиц, которые вот-вот вспорхнут с влажной чаши.

А Тритон, одиноко стоящий на площади Барберини, — Тритон, с таким напряженьем закинувший голову и трубящий в завиток каменной раковины, что смотреть на него почти больно?

А Баркачча — лодка, которая терпит крушение, и вот уже много веков всё не может никак затонуть, напоминая и судьбу Рима, и судьбу всего человечества?..

Каждый римский фонтан есть легенда и притча — причём всякий, зачерпнувший воды из опаловой чаши, неизбежно привносит и что-то своё в этот сборник легенд и преданий, видений и снов, в эту сложную смесь реальности и мечты.

Вообще тема воды, в самых разных её проявлениях — одна из ведущих тем Рима. Так, главные птицы здесь — не воробьи и не голуби, а крикливые чайки. Ну, конечно: Тирренское море неподалёку, километрах всего в двадцати. А римские термы? Ведь это же, в сущности, роскошные храмы воды, и посещали их римляне бесплатно и ежедневно.

А римские общественные уборные, где под задами — простите за натурализм — посетителей протекал полноводный ручей, смывающий нечистоты? Санитарное дело в Риме было на высоте; не оттого ли доныне лучшая в мире сантехника — именно итальянская?

Римские акведуки, *водопроводы*, по которым вода, самотёком стекая с окрестных холмов, питает фонтаны Вечного города, исправно работают вот уж две тысячи лет. И как это римские водопроводчики не боялись остаться безработными? Как вообще можно что-либо строить один раз — и на века? Хочется пробормотать по-старушечьи: “Батюшки-святы. . .” — и перекреститься.

У нас-то, у русских, — всё, слава Богу, не так. У нас чуть что построили — глядь, оно уже и развалилось. А и правильно: мы на земле только гости — нечего, стало быть, и обустраиваться, и обживать. Погостил, чайку выпил — и, с Богом, в дорогу. А то ишь, что удумали: что ни город, то вечный, что ни водопровод — то с гарантией аж на две с лишним тысячи лет! Превознеслись они слишком, на русский-то взгляд — обуяла их, бедных, гордыня. . .

Но, с другой стороны, как тут не загордиться, живя сызмала в окружении этой Античности и этого Средневековья, в обрамлении каменных кружев, реликвий, святынь? Пройдя по теснякам меж старых домов, мимо кадок с лимонными деревцами и дверных ручек в виде львиных голов, попирая подошвами камни, по которым ступали сенаторы, цезари и папы, начинаешь казаться себе самому тоже вечным, тяжеловесным, напоминающим собственный памятник.

А тут ещё эти римские лестницы — второе, после фонтанов, чудо великого города. Живописность и разнообразие лестниц Рима чаруют и изумляют. И совершенно различны их, так сказать, энергетика. От самой священной и знаменитой лестницы в мире, от Санта Скала — тех, вывезенных из Иерусалима, двадцати восьми мраморных ступеней, по которым некогда поднимался Иисус на суд Пилата и по которым ныне можно взойти только лишь на коленях, — до самых мирских и простецких, до лестниц, где так хорошо пить вино или просто лежать в полудрёме на тёплых камнях и слушать, как шаркают, шаркают, шаркают мимо десятки и сотни человеческих ног. . .

Как в толпе не найти одинаковых лиц — так и среди римских лестниц вряд ли найдёшь хотя бы две, похожих друг на друга. Но общее в них всё же можно почувствовать. Все они очень свободны, раскованны, непринуждённы, словно они предназначены больше для спуска, чем для натужно-томительного подъёма. В этом они выражают народ, который их построил: итальянец вполне итальянец, лишь когда он расслаблен и весел, когда он поёт или пьёт, или непринуждённо болтает о чём-то, то есть тогда, когда он спускается по лестнице — отдаётся вполне этой неге и радости спуска. А возьми немца или англичанина — тем, наоборот, нужен подъём, нужно усилие организации, дисциплины, труда — лишь тогда их национальный характер проявится полно и ярко.

Лестницы Рима — они словно льются с холмов, напоминая потоки окаменевшей воды. Особенно это относится к знаменитой Испанской лестнице. Она именно ниспадает каскадами вольных потоков, то расходящихся на рукава, то сливающихся воедино. И поразительно, как неподвижное каменное соору-

жение — лестница — может казаться столь живым и текучим, пластичным. Возможно, что этот эффект производят те сотни людей, что движутся вверх или вниз по истёртым ступеням, сидят на них или даже лежат — и при этом, как будто в счастливом бреде, они что-то бормочут на разных языках, образующих сложную смесь. Если была в истории человечества Вавилонская башня, где разделились и смешались *дванадцать языков*, то здесь мы видим настоящую *Вавилонскую лестницу*. Правда, здесь разделение языков, похоже, никому не мешает выражать свой восторг и своё понимание счастья — единое, в сущности, для всех народов Земли.

Раз уж мы оказались на Испанской лестнице, нельзя не подняться наверх и не попробовать отыскать дом Гоголя на Via Sistina — дом, где писал он “Мёртвые души”. Стараясь держаться в тени — первомайское солнце уже допекает — мы, вертя головами, бредём сквозь чад и шум улицы, шарахаясь от проносящихся мимо воющих скутеров и бормоча “Scusi!” проходим, которых случайно толкаем. Дома здесь насуплены, стары, подёрнуты копотью времени — как, впрочем, многое в Риме. Вижу табличку на рыжеватой стене, вглядываюсь — не гоголевская ли? — но ошибаюсь: это дом, где жил Андерсен. А профиль Гоголя встречает нас через пару шагов, на соседнем, таком же обшарпанном доме горчичного цвета. Так вот, значит, где сочинялась самая, может быть, знаменитая русская книга — одновременно поэма и пасквиль, гимн России и карикатура на Русь. Вот за этими ставнями из косых деревянных реек Гоголь спасался от римской жары и терпел промозглую римскую зиму, здесь его посещали те грёзы и сны о России, которые он воплотил в своей гениальной поэме...

Но как удивительно это сближение: Гоголь и Андерсен. Ведь эти два гения, жившие в Риме на одной улице, кажутся по судьбе, по натуре и даже по внешности своей чуть ли не близнецами. Оба одинокие девственники, прожившие жизнь в бездомных скитаниях, — только Рим и пригрел-приютил этих странных людей; оба боролись всю жизнь с потёмками собственных душ — и даже фобии у них были одинаковые! И Гоголь, и Андерсен больше всего боялись быть погребёнными заживо — и, засыпая, оставляли записки, умолявшие не закапывать их, прежде чем не проявятся явные признаки разложения.

И оба — великие сказочники. Ну, с Андерсеном-то понятно; но ведь и Гоголь, по сути, не писал ничего, кроме сказок — смешных или страшных, мистических, героических или абсурдных, — но именно сказок. Разве мало-российские или петербургские повести, разве “Тарас Бульба” или те же “Мёртвые души” — не сказки? Гоголь — колдун, чародей, заклинатель; недаром от гоголевских страниц, стоит раскрыть наугад любую его книгу, уже невозможно — физически! — оторваться.

“Не случайно же, — думаю я, ладонью касаясь шершавой стены под табличкою с профилем Гоголя, — наш сказочник выбрал обителью именно Рим, город-сказку: ему ещё, как не в окружении римских развалин, фонтанов и лестниц, было ему сочинять свои русские сказки?”

Ну, что — идём дальше? Сегодня Рим подарил нам автобусную забастовку — то, что сначала так огорчало, но потом, как это часто бывает, оказалось нам во благо. Ибо вряд ли иначе мы бы так походили по старому Риму — вдоль мелкого Тибра, по гетто, к цветочному рынку с печальным Джордано Бруно, и дальше, к подножию лестницы, что мягко взнесла нас на Капитолий, — вряд ли мы так впитали бы весь этот римский дурманящий зной, шум и чад площадей и пустыньность тенистых улиц, где так легко потеряться. И вряд ли бы, думаю, вялая пышность барокко — любимого римскими папами стиля — показала бы нам в иной ситуации столь же уместной. Ведь, скажем, строгий и чистый аттический стиль — стиль Парфенона в Афинах — требует для восприятия бодрости тела и духа, отваги и ясности взгляда; а вот если ты уже вял, утомлён и ослаблен — то завитушки барокко тебя умилят и прельстят, и покажутся, может быть, верхом искусства. Хотя, в сущности, всё это пошло-безвкусно: эти волны лепнин и гирлянды щекастых задумчивых путти — то ли амурчиков, то ль ангелочков? — весь этот перекармливаемый, самодовольно-назойливый избыток плоти.

Но даже они могут быть хороши, если воспринимать их как игру, если вдруг осознать, что весь Рим, по сути, — грандиозная декорация. Жить в Риме — это всё равно что жить внутри театра, за кулисами, где хранятся все пыльные и обветшалые декорации прошлых сезонов-эпох, где реальность пе-

реплетается с вымыслом, где с течением времени перестаёшь понимать, кто же ты: лицедей или зритель?

И вот как раз обветшалость, патина времени и возносит творенья барокко на истинную высоту. Эти фасады, фонтаны, скульптуры — они, как вино или сыр, с годами становятся лучше, и прозелень мха, благородная плесень или рыжая накипь на чашах фонтанов привносят в творенья прославленных зодчих как раз то, чего им не хватало при их создании: печаль увядания, горечь мудрой улыбки над собственным, столь легковесным, тщеславием и собственной, столь неуместной, гордыней.

Рим покоряет именно тем, что он — город-сказка, он не пробуждает, а усыпляет, он не приближает к реальности, а, напротив, уводит в какие-то смутные сны. Если б не рёв мотороллеров, врывающихся время от времени в забытьё пешехода, — кажется, я б превратился в сомнамбулу Рима и вечно бродил бы по этим камням, то сырым и холодным, то солнечно-тёплым, и чувствовал, как то ли я проникаю сквозь время, его неподвижно-прозрачную толщу — то ли оно без усилий насквозь проникает сквозь зыбкие контуры призрака под названием “я сам”...

#### IV. ВАТИКАН

*Думай много, говори мало, не пиши ничего.*

(Из католических наставлений)

Кому не расскажешь, что, дескать, недавно вернулся из Рима, тут же слышишь вопрос: “А был в Ватикане?”

Да был я там, был — ещё бы не посетить цитадель Католичества, образец абсолютной монархии, где папа — и глава государства, и законотворец, и верховный судья. Одно слово — непогрешимый. О какой-то там демократии, замусоленной и обветшалой игрушке современной Европы, в Ватикане смешно даже думать. Здесь, как в том военном уставе, где первым пунктом стоит “командир всегда прав”, а вторым — “если командир неправ, смотри пункт первый”.

Военная тема звучит в папском Риме ещё и таким неожиданным образом. Ватикан — это детище Муссолини, отца итальянского и мирового фашизма: в 1927 году были подписаны Латеранские соглашения, и папа с его окружением получил часть территории Рима, и Ватикан с того времени стал независимым, очень богатым и очень влиятельным государством.

А то, что идеи и дух Муссолини живут здесь до сих пор, доказать очень просто: посмотрите, сколько в Италии винных бутылок с портретами “дуче”. Они продаются, особенно в туристически-людных местах, буквально на каждом углу. Но раз есть предположение — значит, есть спрос; торговый прилавок отражает общественное сознание лучше любого института социологии. Многие итальянцы, похоже, и нынче мечтают о цезарях и диктатуре; и несомненно, что папский Рим, со всей его сумрачной мощью, со всеми пороками и лицемерием абсолютизма продолжил традиции именно дохристианского, цезарианского Рима.

Но довольно политики — поговорим об искусстве. Ведь для туристов всех стран и народов главное в Ватикане — его музеи. На протяжении многих веков сюда свозились сокровища со всех сторон света. И даже та реквизиция ценностей, которую учинил здесь Наполеон Бонапарт, не очень-то отразилась на папских коллекциях. Добра оказалось здесь столько, что, сколь ни грабь, — остаётся ещё предостаточно.

А богатство — оно и притягивает богатство. Едва ли не самое сильное впечатление от Ватикана оставила очередь к кассам музеев: когда я пробежал вдоль неё в оба конца, то выглядел, как умирающий галл. И ведь все эти тысячи и миллионы туристов несут в Ватикан деньги, деньги и деньги: их поток никогда здесь не иссякает.

Что удивило и что запомнилось из ватиканских коллекций? Опять, и в который раз, — изобилие плоти. Ренессанс, воскрешая и собирая образцы античного искусства, сам оказался настолько завален всей этой мраморной мускулатурой, что превратился в настоящую свалку и оргию тел. Какое уж там христианство, какая победа над плотью и смертью, когда всё в Ватикане,



от залов скульптур до Сикстинской капеллы, кричит об одном: о капитуляции духа под натиском плоти. Не радость и просветление победы, а тоска поражения — вот что остаётся в душе после дня, проведённого здесь.

Уверен, что многие папы, гуляя по залам музеев (являющихся, кстати сказать, их личной собственностью), не могли не испытывать чего-то подобного: печаль и тоску, ощущение пленённости всей этой мраморной и нарисованной плотью — и стремление вырваться из этого безнадежно-телесного тупика. Доходило и до комических эпизодов. Один из пап, придя в ужас от десятков окружающих его мраморных фаллосов — а Античность, как известно, не могла обойтись без любовно и точно вылепленных гениталий, — приказал беспощадно отбить эти части скульптур. Вот это, я понимаю, было зрелище: бедняга-каменотёс, хохоча и плача, с зубилом и молотком проходил по залам музеев, оставляя в хрустящем под сапогами мраморном крошечке — нет, не отрубленные головы драконов или гидр, а нечто гораздо более страшное: фаллосы древних богов и героев! Говорят, и доныне где-то в подвалах понтифика хранятся эти отбитые части скульптур; а посетители музеев довольствуются грубыми сколами мрамора на причинных местах, но зато могут дать волю воображению. В общем, есть над чем посмеяться и в гостях у римского папы.

Конечно, описывать картины и гобелены, скульптуры и фрески дело неблагодарное — их надо видеть, но вот обойтись без описания Сикстинской капеллы никак невозможно. Ведь это не просто одно из главных мест Ватикана (а значит, всего католического мира); это самое, может быть, знаменитое художественное произведение всей европейской цивилизации.

Что поражает в Сикстинской капелле? Прежде всего, это памятник неимоверному, превосходящему всё, что мы можем себе представить, труду человека. Всё это огромное, необозримое взглядом пространство, нависающее над зачарованно переступающими посетителями — все эти своды, распалубки и люнеты, эти сложно переходящие друг в друга плоскости — расписал за неполные четыре года один-единственный человек! Он работал совсем без помощников: даже краски художник растирал и смешивал собственноручно. Да что краски: Микеланджело и леса строил сам, в одиночку, по собственным чертежам; а потом так и жил там, наверху, на подмостках. Даже если не брать в расчет то, что в итоге получился художественный шедевр, само представление о покрытии красками всех этих изогнутых плоскостей, то сужающихся, то расширяющихся, да ещё находящихся на огромной высоте, поражает. Информация для сопоставления: в восьмидесятые годы XX века проводилась реставрация Сикстинской капеллы, заключающаяся, главным образом, в удалении, с помощью влажной фланели, той копоти, что оседала на фрески в течение четырёхсот лет. И вот сотня усердных реставраторов в течение 12 лет всего лишь протирала влажными тряпками то, что один-единственный человек написал за три года и несколько месяцев!

Но всё же это достижение спортивного, так сказать, характера — абсолютный рекорд работоспособности. А что сказать о художественном и религиозном впечатлении — то есть о том, ради чего и был совершён этот подвиг? Спроси меня сам Микеланджело: “Ну, как, братец, тебе всё это?” — я бы, пробормотав что-нибудь о величии его гения и о масштабах труда, вряд ли сумел бы ответить ему что-нибудь по существу. Ибо попытка передать невыразимое даже не словом (слово всё-таки ближе к Тому, Кто и Сам есть великое и изначальное Слово), а красками на штукатурке — такая попытка заранее, в самый момент замысла, обречена на неудачу. “Сотворению мира” не веришь — вот главное чувство, какое уносишь с собой, проходя по огромному, сумрачно-гулкому залу Сикстинской капеллы.

А уж “Страшный Суд” — тот вообще оставляет гнетущее впечатление. И ладно бы, это чувство испытывал я, слабый грешник, которому на Суде, вероятно, придётся несладко; но почему и на лицах тех праведников, что уже спасены и возносятся, чтобы сесть одесную Спасителя, — виден ужас отчаяния? Что же это за Суд, что же это за Бог, всепрощающий и милосердный, близость к Которому пробуждает не радость, а скорбь и обнажает бездонную тьму обречённости?

И снова эти мясные, тяжёлые груды тоскующей плоти... Даже женщины у Микеланджело сложены, как мужчины-штангисты; даже Спаситель, Чьё тело повторяет контуры и мускулатуру знаменитого Бельведерского торса — и Тот превосходит всех тех, кого Он призвал на Суд, не столько силою и про-

светлённостью Духа, сколько мощью напряжённых мышц. Кажется, персонажи Сикстинской капеллы пытаются вырваться из западни собственной плоти — её же, плоти, усилием и напряжением; и поэтому все их потуги остаются втуне.

Недаром папский церемониймейстер Бьяджо да Чезан, впервые увидевший “Страшный Суд” Микеланджело, воскликнул: “Да эта фреска больше подходит для бани или трактира!” И гнев Микеланджело, который не поленился изобразить Чезана в облики Миноса, встречающего грешников в аду, — сам этот гнев подтверждает, насколько был точен — а значит, смертельно обижен — упрёк церемониймейстера.

Бьяджо да Чезан в своих чувствах был не одинок. И в XVI, и в XVII веке “Страшный Суд” подмалёвывали, пытаясь затушевать его видимую непристойность, смягчить подавляющий зрителя грубый телесный напор. Живое христианское чувство говорило католическим иерархам: “Нет, всё же в этом апофеозе клубящейся, одновременно тоскующей и торжествующей плоти — что-то здесь не так...” Уже в недавние времена, в 1994 году, при открытии Сикстинской капеллы после её реставрации, мудрый папа Иоанн Павел II был вынужден в очередной раз оправдываться перед всем миром: фрески Микеланджело, дескать, следует понимать, как “храм богословия человеческого тела”. Слово “богословие” здесь явно лишнее — тогда уж любой анатомический атлас можно считать катехизисом, — а вот слова “храм тела” действительно выражают суть Католицизма. Католичество очень телесно, конкретно и зримо, оно осязаемо и, так сказать, имманентно; в Католичестве христианство низведено с его изначально-трансцендентных высот к бытовым и телесным низинам. Недаром же и Ренессанс, возрождавший языческое искусство, пришёл так ко двору папскому Риму: именно папы покровительствовали гениям Возрождения.

И как символичен казался тот сумрак, в котором находятся ныне сикстинские фрески... Я понимаю, конечно, что затемнение необходимо для лучшей сохранности красок; но эта гнетущая сумрачность и теснота шевелящихся, трущихся тел туристских толп так подавляет, что выходишь наружу, на площадь Святого Петра с чувством долгожданного освобождения.

“Да, их Бог — в силе, — думаешь, вспоминая скульптуры ватиканских музеев и нагромождения тел Сикстинской капеллы, — причём в силе конкретно-телесной, в том, что называется “кулачное право”. Здесь, в центре всего католического мира, нельзя этого не ощутить; и впечатления от собора Святого Петра лишь подтверждают телесную, зримую мощь папской Церкви”.

Но не будем впадать в грех гордыни. Конечно, хотелось бы вспомнить и слова Александра Невского: “Не в силе Бог, а в правде”, — вспомнить, кстати, и то, что как раз католических рыцарей Невский разгромил на Чудском озере, хотелось бы даже, упрощая мысль до банальности, заявить: Католичество, дескать, есть тело Христовой веры, а Православие есть душа христианства.

Кое-какой резон в этом, конечно, есть; но не забудем, что именно Католичество, с его целевыми, конкретными установками, и сделало христианство действительно мировой религией. Вера должна быть конкретна и зрима — “вера без дел мертва есть” — и вот в этом-то смысле католики дадут сто очков вперёд православным. Создавать, строить, организовывать, внедрять принципы веры в конкретную жизнь, убеждать, блюсти свою выгоду, идти на компромиссы — в этих делах католики за полторы тысячи лет достигли виртуозности и совершенства.

Конкретность, приверженность “миру сему”, конечно, бывает порою опасна, грозит затянуть в череду мелко-суетных дел, но ещё пагубней может быть неуважение к частностям жизни, презрение к конкретному и единичному, слепота общественная и житейская, когда не замечаешь людей, окружающих нас: то есть то, чем, увы, часто грешим мы с вами, русские и православные.

И вот думаешь: а нет ли в том, что христианство разделилось на Западное и Восточное, на Католичество и Православие, нет ли во всём этом Промысла Божьего? Как сотворил Господь не единого человека, а мужчину и женщину, чтобы они в своей нераздельной противоположности, в своём непримиримом единстве могли выразить некую общую, целокупную истину о человеке, не так ли Он попустил разделение Церкви на Западную и Восточную, чтобы каждая могла ярче, полней и решительней выразить некую, может быть, частичную, истину христианства? Как из мужского ребра была некогда сотворена женщи-

на, которая с тех самых пор вечно враждует и спорит с мужчиной, но не может жить без него, точно так же, как он без неё, — не так ли и из ребра Православия, то есть первичной, единой некогда Церкви, возникло и Католичество? И как женщине Творец поручил, так сказать, сей земной мир — хлопоты чадородия и плодородия, суету бытового жизнеустройства, — не так ли и Католичеству была дана как бы на откуп земная, конкретная, плотская жизнь? Конечно, мысль диковатая, но в чём-то, быть может, и верная. И хоть мы нескончаемо спорим и даже враждуем иногда с Католичеством, но чувствуем в глубине души, что общая наша, единая Истина лежит всё же глубже формального разделения христианских конфессий. Мы друг без друга не можем: исчезни из нас кто-то один, возможно, что эта потеря трагически и неизбежно погубит другого.

## V. ХОЛМЫ ТОСКАНЫ

*Где больше неба мне, там я бродить готов,  
И ясная тоска меня не отпускает  
От молодых ещё, воронежских холмов  
К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане...*

О. Мандельштам

Ожидая отъезда в Тоскану, я провёл около часа в окраинном римском кафе. Было ещё очень рано — половина восьмого утра, — но небольшое кафе уже было полно посетителей. Несколько смуглых небритых мужчин стояли у игровых автоматов. Они опускали в прорезь монеты, дёргали рычаги и ждали, когда же им выпадет счастье. И тени сомнения в том, что им обязательно повезёт, не было ни в глазах, ни в спокойно-уверенных жестах. Скорее посетитель мог сомневаться в том, что ему здесь нальют кофе, чем эти римляне могли бы усомниться в своей скорой встрече со счастьем.

У нас-то, в России, да ещё в половине восьмого утра, такие вот мужики могут думать лишь об одном: как бы опохмелиться? А эти, смотри-ка — настолько уверены, что им вот-вот повезёт, что даже, похоже, не очень волнуются: пришли за удачей, как за зарплатой.

А потом я заметил, что многие женщины, вместе с чашкою кофе, покупают ещё и какой-то блестящий листочек. И, попивая свой капучино, они почти машинально монеткой соскабливают серебристое напыление с этой бумажки, небрежно-рассеянно смотрят, комкают листок и спокойно бросают в корзину. “Да это же лотерея! — догадался я. — Они, как и те мужики у игровых машин, уже спозаранку пришли за удачей”.

Похоже, что мне в это утро открылась одна из важнейших пружин итальянской души. Итальянцы — народ, жаждущий счастья и уверенный в том, что *посылка счастья* им уже выслана, и теперь дело за малым: надо всего лишь дождаться её да получить. Как же это отличается от нашего с вами, русского отношения к миру! Если итальянцы ждут счастья и не сомневаются в своём на него неотъемлемом праве, то мы в глубине своей души ждём, скорее, беды, и тоже не сомневаемся в том, что наши личные или общенародные беды не за горами и, рано или поздно, они обязательно нас посетят. Мы и угрюмы бываем поэтому сверх всякой меры, но по этой же самой причине можем быть и безудержно-веселы. Дескать, гуляй, рванина, от рубля и выше: хоть день, да наш! одна живём, братцы! Или, как поётся в известной припевке:

*Эх, пить будем,  
Гулять будем,  
А смерть придёт —  
Помирать будем!*

Но где же — вправе спросить читатель — холмы Тосканы, которые нам обещало название главы? Да вот же они — стоит только взглянуть в окно катящего по дороге автобуса. Мало что видел я гармоничнее этих ласкающих взоры холмов, по склонам которых или колыхнутся волны бледно-зелёной пшеницы, или желтеет сурепка, или алыми брызгами светятся маки. А на вершинах стоят одинокие виллы, к которым ведут аллеи из кипарисов и тополей, или

громоздятся целые городки, которые издали кажутся нереально-игрушечными.

И каждый такой городок мало чем отличается от такого же по размеру квартала, например, Рима, то есть в нём будет тот же фонтан на площади перед собором, тот же рынок и те же кафе, в которых мужчины будут неспешно прихлёбывать кофе, горячо обсуждая футбольные новости. Между столицей и самой заштатной провинцией здесь, как и вообще в благополучной Европе, нет той чудовищной разницы, что у нас – у нас, где затрапезный райцентр кажется почти что столицей по сравнению с какой-нибудь опустевшей деревней, где губернский город подавляет сельского жителя шумом и роскошью; а уж Москву-то я и не знаю, с чем сравнивать – это словно иная планета.

Среди тех городов, что мы встретим сегодня в Тоскане, будет и самый маленький в мире: Монтериджиони. В нём есть всё, что положено иметь городу: мэр и муниципалитет, почта и ресторан, есть даже своя собственная, сохранившаяся со времён Средневековья монета, а население этого города, красиво стоящего на холме, в окружении старых каменных стен, состоит всего лишь из восьми человек. В Италии даже крошечный город есть всё же город, со своими правами и гордостью, с преданиями и легендами, со своим – разумеется, лучшим на свете, по мнению жителей, – сортом вина, и с глубинною убеждённою в том, что вот именно здесь и находится центр всего мира. Да, это немного смешно; но зато человек, сознавая, что он живёт в самом лучшем месте на свете, не будет ни гадить у себя под окнами (как, увы, часто делаем мы), ни отказываться от своих предков и своей истории (а у нас отречение от прошлого стало дурною национальной традицией), не будет и поднимать свой авторитет за счёт унижения других: ибо человек, уважающий сам себя, и к ближним относится с уважением.

Но не пора ли размяться да испить кофейку? Наш автобус подрулил к придорожному ресторанчику, мы вышли в тень раскидистых пиний и пошли на запах кофе. У стойки бара царит – как бы это поточнее выразиться? – суетливый покой: парадоксальное состояние, в котором обычно живут итальянцы. То есть они азартно жестикулируют, вскрикивают и почти что без умолку болтают на своём сладкозвучно-певучем, густом языке, но при этом ни в них самих, ни в их окружении не происходит, похоже, никаких перемен. Этот мир как будто застыл в возбуждённом покое. И поэтому наблюдать итальянцев, их жизнь и эмоции, слушать их разговор – почти то же самое, что бесконечно смотреть на огонь или на текущую воду.

Но подошла моя очередь, и в руках у меня уже исходит паром ароматная чашка “маккьято”. Кофе в Италии – это нечто потрясающее. Это может стать отдельной темой для очередного сравнения русских с итальянцами: кофе и чай, национальные наши напитки, хоть и являются настоем одного и того же вещества, но отличаются так же, как и мы отличаемся от обитателей Апеннин. Любимый наш чай здесь, в Италии, кажется ересью, за которую могут сжечь на костре. Недаром Гоголь, любивший и знавший Италию, как мало кто из иностранцев, писал Данилевскому: “Здесь чай – это что-то ужасное, что-то похуже на привидение, приходящее пугать нас...”

Чай – напиток простора и воли, он льётся и пьётся таким же потоком, как, скажем, река или русская песня, поэтому, видимо, этот колониальный товар пришёлся настолько по вкусу в России. Классическое наше чаепитие у самовара – это нечто раздольно-широкое, долгое, размывающее границы частного существования, нечто, переводящее индивида уже как бы в плоскость иного – общенародного – бытия. И любой русский, от помещика до ямщика, неспешно выпивший пять-шесть чашек чая, становился как бы ещё более русским, чем он был до чаепития: он приникал к тем пластам и источникам жизни, где частное растворяется в общем, как кусок сахара тает в дымящемся чае. В ходе задумчиво-долгого, под разговор, чаепития – а только таким должен быть настоящий, не смазанный суетой, ритуал, – приходит странное чувство, что тебя самого уже как бы и нет, но есть мир без тебя, безгранично прекрасный, подробный и сложный, увидеть который тебе до поры мешал ты сам; но чайный поток растворил на тебе эту индивидуальную плёнку, и ты наконец прикоснулся к реальности как таковой, смог почувствовать мир, не искажённый призмой личного восприятия.

А вот чашка кофе не только не размывает границ “я”, но, напротив, ещё более обостряет и закрепляет твою личную отделённость от окружающего. Сделав пару глотков итальянского крепкого кофе, смотришь на мир, словно

с некой дистанции. Взгляд становится напряжённой и резче, предметы и люди вокруг — отчуждённые...

Да, чашка кофе — это как бы инъекция одиночества в нашу общинную русскую душу, это то, чего нам порой так не хватает для ощущения дистанции между собою и миром, той дистанции, без которой не возникает чувства личного самоуважения. Здесь, в Италии, на кого ни взгляни — официанта, таксиста или продавца, — все настолько солидно-вальяжны, важны, что похожи, скорей, на министров, чем на работников сферы обслуживания. Уверен, что кофе играет здесь далеко не последнюю роль: те инъекции жизненной силы и чувства “особости”, что итальянцы получают в виде чашек “эспрессо” ежедневно и многократно, не могут на них не влиять.

Но мы уже тронулись в путь и опять покатали по солнечной и живописной Тоскане. Автобус перевалил за гряду невысоких холмов и начал спускаться в долину Арно. Значит, скоро Флоренция, и её знаменитые купола вот-вот замаячат вдаль. А в мозгу, возбуждённом недавно выпитой чашкой кофе, никак не уляжется недоумение: как случилось, что этот город — не порт, не промышленный узел, не перекрёсток торговых путей — стал, тем не менее, родиной Ренессанса? Почему именно флорентийская живопись, зодчество, скульптура и литература поднялись в ту эпоху на небывалую высоту? Что сделало этот тесный, сплошь каменный небольшой городок, терзаемый войнами и чумой, символом и средоточием всей европейской культуры Возрождения?

Если верно, что нацию формирует язык, то итальянская нация выросла не просто из флорентийского диалекта, но из одного-единственного флорентийского литературного произведения — “Божественной комедии” Данте. Вряд ли в истории человечества происходило что-либо подобное, когда творение гения становилось краеугольным камнем истории народа. Недаром и почести Данте здесь, во Флоренции, воздаются божественные: строки его поэмы выбиты, как на скрижалях, на стенах домов, и вся Флоренция кажется каменной книгой, единственным и уникальным изданием *Divina Commedia*.

Не забудем ещё и другого титана флорентийской и мировой литературы — Джованни Боккаччо. Видеть в “Декамероне” лишь собрание скабрёзных анекдотов — значит, не замечать в нём главного: трагедии *пира во время чумы*. Картины чумной эпидемии 1348 года, которыми открывается книга, придают всем историям, что рассказаны в ней, глубину и трагизм, достоверную живость, и делают сборник Боккаччо воистину книгой на все времена — ибо каждая из проживаемых нами эпох есть, по сути, эпоха чумы. Энергия и весёлая изобретательность автора — удивительны; язык, сочетающий куртуазную утончённость с живостью уличной речи, не теряет достоинства даже и в переводе; количество подражаний “Декамерону” огромно; сюжеты его — бессмертны.

Говорить о литературе Флоренции можно долго. Как забыть, скажем, о Микеланджело, которому, кажется, было всё равно, чем — резцом, кистью или пером — выражать себя в мире? Уже одно его стихотворение “Ночь”, гениально переведённое Тютчевым (“Молчи, прошу, не смей меня будить...”), делает Микеланджело великим трагическим поэтом.

А Никколо Макиавелли, известный более как теоретик политтехнологий — тех способов манипулировать обществом, что и поныне не потеряли своей актуальности? Прочитайте его “Песнь торговца кедровыми шишками”, и вы сразу увидите, какое живое литературное дарование нёс в себе этот циник и мизантроп.

А, наконец, сам Лоренцо Медичи, прозванный Великолепным, — главный спонсор всего флорентийского Ренессанса? Он ведь и писатель был далеко не заурядный: до сих пор без его сочинений не обходится ни один сборник новелл Возрождения.

И это всё — флорентийцы, жители небольшого тесного городка в центре Тосканы. Как удивительно всё же Господь распределяет таланты: Он зачем-то сгущает их в одном месте и времени — оставляя иные места и эпохи почти что бесплодными. “Флорентийское чудо” наводит на мысли и о другом литературно-географическом феномене. Я имею в виду русское наше Подстепье, тот удивительный треугольник меж Тулой, Орлом и Воронежем, из которого вышла едва ли не вся русская классика.

Так, может, совсем не случайно та перекличка “молодых воронежских холмов” с всечеловеческими холмами Тосканы, о которой писал Мандельштам? Может быть, гении слышат друг друга через эпохи и через пространст-

ва, а вместе с ними слышим друг друга и мы, их читатели? Уверен, что между мною, читающим Данте или Боккаччо, и итальянцем, читающим Льва Толстого или Андрея Платонова, возникает особая, неуловимая – но и нерасторжимая! – связь.

## VI. БРАТА РАЯ

*...смерть — это всегда вторая  
Флоренция с архитектурой Рая.*

И. Бродский

Во Флоренции мы провели целый день. И кто бы мог думать, что в нашем блуждании по лабиринтам сырых переулков и улиц, с выходом в солнечно-шумную толчею площадей, в этой привычной усталости пешехода-туриста, когда неизвестно, что у тебя гудит больше – ноги или голова? – что во всём этом содержался и некий сюжет, осознать который я смог лишь потом, возвратившись в Россию?

Мы ступили на флорентийскую землю возле церкви Сан-Марко, той самой, где служил и произносил свои пылкие проповеди Джироламо Савонарола. И, оставив храм за спиной, бодро двинулись к центру. Вон уж видна в перспективе прямой шумной улицы резная шкатулка Дуомо, знаменитая бело-зелёная перевить его каменных кружев. Сам кафедральный собор кажется несообразно огромным как для площади, тесной и полной туристов, так и вообще для Флоренции. Здесь некуда отойти, чтобы сфотографировать собор целиком, а уж поджарая колокольня Джотто, ракетой взлетевшая в небо, тем более не помещается в видоискатель. Приходится фотографировать её по частям, захватывая в нижние кадры чернявые головы вездесущих японских туристов, а в верхние – стаи стрижей, свиристящих над красно-коричневым куполом и резной колокольней.

Налюбовавшись на эти творения Брунеллески и Джотто, ныряем, как в воду, в средневековую тень флорентийских – нет, даже не улиц, а сумрачно-тесных проходов, бродя по которым, кажется, вот-вот начнёшь бредить, метаться и лихорадочно искать выход из этого каменного лабиринта.

Что запомнилось? Цеховые дома. Они очень старые: XVI век во Флоренции – уже “новодел”. То, что дом – это крепость, становится здесь особенно понятным, поскольку окна напоминают бойницы, стены – метровой почти толщины, а над черепичными крышами поднимаются башни; не знаю уж, какой в них военно-оборонительный смысл, но выглядят они сурово и устрашающе. Средневековый город Европы мало того, что сам был автономной, самоуправляемой единицей, так он ещё и делился на множество самостоятельных составляющих – цехов, гильдий, общин и районов, даже отдельных домов, – каждая из которых была как бы городом в городе и могла, в принципе, существовать сама по себе. Так, городской ремесленный цех был, по сути, мини-государством, со своими традициями и законами, со своей иерархией, со своим управлением и бюджетом, со сложной внешней и внутренней политической жизнью. Маркс с Энгельсом, мечтавшие о сплочении и организации трудящихся – соединяйтесь, мол, пролетарии! – опоздали со своим призывом почти на тысячу лет: рабочие люди Европы давным-давно знали, что такое профессионально-политическая организация.

Но я не забыл о сюжете. Напомню, что мы начали свой путь от церкви Сан-Марко; спустя же часа полтора мы стояли на площади Синьории, и я смотрел даже не столько на микеланджеловского Давида или Персея Челлини – прекрасные, слов нет, скульптуры, – сколько на каменную звезду, выложенную в центре площади: так флорентийцы отметили место, где был сожжён Джироламо Савонарола. Если же забежать чуть вперёд и сказать, что сегодняшней день мы закончим в Ферраре, на родине Савонаролы, то станет ясно, чья тень незримо сопровождала нас во Флоренции. Да, это был Джироламо Савонарола – человек, не просто несправедливо казнённый согражданами, но ещё и оболганный на шестьсот лет вперёд. Спроси сейчас у любого более или менее образованного человека, кто такой Савонарола, и вам, скорее всего, ответят, что это был мракобес, “едва не погубивший всё итальянское Возрождение” (именно такую характеристику отца Джироламо я нашёл в интер-

нете). А вот о том, что это был человек поразительной честности и отваги, что он отстаивал христианские ценности в утонувшем в разврате и роскоши городе, что его проповеди потрясали умы и сердца, об этом мало кто знает. Противостояние банкирского клана Медичи и одиночки-монаха Савонаролы — главный сюжет флорентийской истории. В нём, как в фокусе, сошлось всё: языческая контрреволюция Ренессанса, которая уже почти одолела христианство в Италии, и страстные проповеди Савонаролы, а потом и его мученическая смерть, которые так встряхнули страну и эпоху, что они как бы опомнились, и началось истинное Возрождение Италии. Благодаря отцу Джироламо “нравственность снова стала возможна”, как выразился один персонаж пьесы Томаса Манна “Фьоренца” — прекрасного сочинения на главную флорентийскую тему — тему драматических отношений добра и богатства, аскезы и красоты, язычества и христианства.

У нас, в русской литературе, тоже есть свой Савонарола: это священник из пушкинского “Пира во время чумы”. И если бы не авторитет Председателя, сказавшего: “Старик, иди же с миром!” — то священник вполне мог бы быть убит хмельной обезумевшей толпой пирующих.

Европейское Возрождение — оно и было, в сущности, *пиром во время чумы*: ни падений, ни взлётов эпохи нельзя оценить и понять, упуская из вида ту постоянную и неотступную близость смерти, в которой жил человек эпохи Ренессанса. Чума и войны, вражда всех против всех — вот тот трагический фон, на котором завязывались и распускались горячечные и скороспелые, словно чумные бубоны, цветы Возрождения.

Но сейчас, слава Богу, чума нам не грозит, и мы можем без всякой опаски бродить по улицам Флоренции. Даже на кожаном рынке, недалеко от Думо — там, где стоит бронзовый знаменитый кабанчик, один из языческих символов города, — даже там, в толчее, суматохе и гомоне, мы заразимся скорее не чумой, а тем, что в былые советские годы называлось “вещизмом”. Да, здесь так много всяческих сумок и курток, туфель и кошельков — и так много людей, чьи глаза горят куда более откровенным азартом и жизнью, чем где-нибудь в залах музеев, что становится ясно: мы, люди, почти ни в чём не меняемся, и печной горшок нам всегда будет дороже Бельведерского Аполлона. И это ещё мы не вышли на Понте Веккьо, на “золотой мост”, как зовут его русские туристы. На этом мосту, превратившемся в длинную ювелирную лавку ещё при Лоренцо Медичи, золото будет прельщать нас гораздо сильнее, чем оно прельщало, скажем, пушкинского Скупого рыцаря, лёжа в его сундуках, ибо золото здесь, на мосту, поражает своей красотой. А уж перед этим двойным искушением — золотом и красотой — устоять почти невозможно. Нас, слава Богу, хранит наша бедность: мы можем позволить себе брести вдоль сиянья и блеска витрин с независимым, гордым, почти скучающим видом. А уж если и залюбуемся какой-нибудь брошью или фероньеркой — то отстранённо-эстетски, как чистой и недоступной нам красотой.

Золото, можно сказать, преследовало нас во Флоренции. Оно было повсюду: и в магазинных витринах, и на вывесках ресторанов, отелей и банков (Флоренция испокон веку — город банкиров), и во дворце Пити, куда мы пошли посмотреть интерьеры, картины и быт Ренессанса. Флоренция — своего рода *храм золотого тельца*; недаром флорин, золотая монета, которую чекали здесь, в XV веке был главной валютой Европы.

Но самое большое впечатление произвели на нас Золотые ворота Гиберти — те, про которые Микеланджело как-то сказал, что такие ворота должны быть в раю. Так случилось, что около этих “врат рая” мы провели почти три часа, ожидая, пока починят наш автобус, и было время поразмышлять об их назначении и сути.

Это ворота баптистерия (то есть крестильни), построенного ещё в XI веке. Здесь сакральный центр города: сам Данте был крещён в этих стенах. Там, внутри, за “воротами рая” — если и не сам рай, то его зримые образы: сияние византийских мозаик. Мерцающий свет изливается с апсид и купола, и в этом глубоком, таинственном свете нам брезжит иная — уже как бы вечная — жизнь. Чувствуешь: если наши тела ещё пребывают в земном, падшем мире, то взгляды и души уже вознеслись в жизнь иную...

Но внутренний зал баптистерия, как это ни странно, посещается редко. Если снаружи несметные толпы туристов, если в толчее Понте Веккьо или на площади Синьории стоит несмолкающий, словно в улье, гул голосов, то

в баптистерии гулко, пустынно и тихо. Похоже, свет истинной веры мало впечатляет европейских или, тем более, азиатских туристов. Бренды католического Ренессанса — в том числе, Золотые ворота флорентийского баптистерия — слишком “раскручены”, чтоб отпускать от себя восхищённые взгляды. Вот народ и толпится снаружи, у Золотых ворот, представляющих, в сущности, комикс библейских сюжетов, рассказ по картинкам для тех, большей частью неграмотных, горожан, которые некогда приходили сюда. Из золота сделано множество мелко-подробных фигур и пейзажей, на вас смотрит множество лиц, и вся эта многофигурная композиция отполирована до слепящего блеска. Кажется, не одни только руки, но даже и взгляды туристов, так вожделенно скользят по “воротам рая”, шлифуют эти рельефные фигуры не хуже, чем абразивная паста.

Но эти ворота из золота, перед которыми возбуждённо толпится народ, — именно они-то и отделяют нас от рая, от образов истины, радости, света, которые ждут в баптистерии. Ворота всегда есть преграда, препятствие, некий рубеж; Золотые ворота и стали тем символом, что обозначил соотношение между земной, осязаемой пышностью Католичества — и духовной красотой изначального христианства.

О чём ещё думалось перед “воротами рая”? В том числе и о Страшном Суде. Тем более, этот сюжет — едва ли не самый частый в итальянском искусстве: всюду, от флорентийского баптистерия до Сикстинской капеллы, мы видим трактовки того, что с нами случится после Второго Пришествия Спасителя.

А действительно: что же случится? Как соотносится безграничное милосердие Божье — с божественной же справедливостью, с воздаянием полною мерой за всё, что человек совершил от рожденья до смерти? Одно с другим, вроде бы, несовместимо, по крайней мере, в земных, человеческих наших понятиях.

Но выход, кажется, всё-таки есть. Если Господь в час Суда исполнит наше самое искреннее, исходящее из глубины сердца, желание, тем самым восторжествует и справедливость, и милосердие. Ведь исполнение наших заветных желаний — тех, к каким мы приходим в итоге всей жизни, — может быть как наградой, так и наказанием. Кроме того, это будет и торжеством той свободы, на какую мы, люди, были отпущены в акте Творения.

Иными словами: наш ад и наш рай мы носим в себе, в своём сердце; Творец лишь поможет его проявить, закрепить в актуальной и сбывшейся вечности. Если ты, прожив жизнь, сохранил в душе, скажем, только желание власти или богатства, или желание неких телесных угод, то Господь, вздохнув, скажет: “Ну, что же — живи с этим вечно. Я не неволил тебя — ты сам сделал выбор...” Самое страшное — но и самое справедливое — в этом Суде будет то, что мы уже не сумеем слукавить, обмануть ни себя, ни, тем более, Бога: истина наших сердец будет обнажена...

## VII. ПАЛИО В СИЕНЕ

*Если бы я ещё имел неосторожность верить в счастье, то искал бы его в неизменности житейских привычек.*

Ф. Р. де Шатобриан

Самое, может быть, итальянское из всех впечатлений от Италии — это Сиена, живой город-музей в центре Тосканы. В Старом городе и сейчас населения столько же, сколько было в XIII веке, и живут там сиенцы в домах, построенных 800 лет назад. Сиена — своего рода резервация Средневековья — или, если угодно, *машина времени*, поскольку здесь сохранились не только здания, но и сам дух и традиции средневекового быта.

Но древность в Италии часто соседствует с юностью. Лишь только мы вышли к сиенским воротам, как увидели шустрых чернявых мальчишек, азартно игравших в футбол под городской стеной. А уж когда мы познакомились с Сарой, нашим здешним проводником, уроженкой и жительницей Сиены, с этой живой, как ртуть, большеглазой, худой, очень юной женщиной, то ощущение не иссякающей юности этого древнего города стало ещё одним спутником в наших блужданиях по узким, то поднимавшимся, то опускавшимся улицам.



Но что важно: как ни тесны эти улицы и переулки, как ни суровы подслеповатые окна и стены домов, но здесь нет того ощущения западни, какое порою охватывало нас во Флоренции. Дело, может быть, в том, что Сиена стоит на холме — и просторные, вольные виды Тосканы сквозят в торцах улиц и наполняют город тем воздухом воли, которого так не хватает нам, русским, блуждающим в каменных лабиринтах средневековой Европы.

О чём щебетала наш гид, пока мы, как бестолковые козы за юной пастушкой, спешили за ней, оскальзываясь на гладких камнях? Конечно, она говорила о главном: контрадах и палио. Старый город на протяжении вот уже тысячи лет разделён на семнадцать районов-контрад; населяет одну контраду около двух тысяч жителей. Каждый район называется именем какого-либо животного — носорога, пантеры, орла, черепахи, улитки, — и каждый имеет чётко очерченные границы. На рубежах до сих пор происходят драки подростков — вроде того, как и у нас случаются битвы между улицами или кварталами. Но главное в том, что контрада на протяжении многих веков остаётся настоящей большой семьёй, опекающей и защищающей всех своих чад. До недавней поры даже браки между представителями разных контрад были запрещены. Действительно: как можно женить улитку на носороге, орла на пантере или барана на черепахе? Все дети, рождённые в одном районе, считаются как бы общими: за их ростом, развитием и воспитанием следит — и участвует в нём — весь район. Он же поддерживает “своих” на протяжении всей их жизни, но и воспитанники контрады, куда бы их ни завела судьба, всегда помнят, кто они и откуда, и чтят городскую общину, взрастившую их, наравне со своей собственной семьёй. В каком-то смысле контрада в жизни каждого её жителя является чем-то более важным, чем собственная семья. “Когда я уже не могу жить со своим мужем, — признаётся нам Сара, — он носорог, а они все ужасные, самовлюблённые грубияны! — то я ухожу в свою контраду баранов, и живу там, у родителей, несколько месяцев, пока не успокоюсь...” Коренной житель Сиены никогда не остаётся один. Даже если он не имеет семьи и детей, если он болен, беден и стар, община всегда его примет, утешит, накормит и обогреет.

Мы поднялись сначала к собору, который построил Никколо Пизано, — по пути, в контраде орлов, я прикупил бутылку *Montepulciano*, отличного красного вина, — и продолжали двигаться к площади, главному месту Сиены. То и дело до нас доносилась раскатисто-гулкая дробь барабанов. “Это мальчишки репетируют праздничное шествие, — пояснила нам Сара. — Мой сын — ему шесть лет — тоже будет барабанщиком: он очень этим гордится”. То есть, едва появившись на свет, юный гражданин Сиены уже получает ту роль, что ему надлежит играть в будущем, — роль, которую до него исполняли поколения и поколения его предков.

Прошлое вообще поразительно живо в Сиене. Наша предводительница, юная женщина XXI века, вдруг горячо обращается к нам: “Я не люблю загружать людей датами, но один год я вас умоляю запомнить: это 1260-й, когда сиенцы — единственный раз! — разбили в бою флорентийцев!” Маслины её глаз заблестели слезами, голос дрогнул — казалось, что она вот-вот разрыдается... Поразительно: то, что произошло почти восемь веков назад, до сих пор наполняло её живым трепетом, гордостью, счастьем! Насколько же прошлое может быть актуальным, живым, существующим “здесь и теперь”, насколько всё то, чем живет настоящее, дышит, можно сказать, вечным воздухом прошлого.

Да, настоящее современной Италии во многом определяется её прошлым. Но ведь это и есть формула счастья, секрет которого, как писал Шатобриан, в “неизменности житейских привычек”. Итальянцы знают этот секрет и придерживаются его; поэтому, если где-нибудь в мире и есть счастливый народ, живущий в счастливой стране, то это итальянцы в Италии. Неизменность уклада и быта является здесь почти культовым принципом, который соблюдается неукоснительно, как магическое заклинание. Это, в сущности, и есть заклинание, которым итальянцы стараются отогнать те невзгоды и беды, которые неизбежно приходят с новшествами и переменами. И это им почти удаётся — во всяком случае, куда в большей степени, чем нам.

Наше-то бытие, в отличие от итальянского, определяется, в основном, будущим, ибо мы — люди мечты, устремлённости в недостижимую даль. Мы не храним своего прошлого и не держимся за него, но, напротив, маниакаль-

но стараемся от него избавиться. Может, ещё и поэтому мы так глубоко, так безнадежно несчастны? Мы не ценим того, что у нас уже есть или было, то есть, по сути, не ценим, не любим самих себя, а гонимся за ускользающим призраком, за мечтой, вместо того чтобы жить настоящим.

Но вернёмся в Сиену. Слушая гида, мы выходим на покатую площадь, ту самую, где происходят знаменитые скачки. Палио – конные состязания на главной площади города – проводятся здесь ежегодно, 2 июля и 16 августа. Дистанция – три круга, всего что-то около километра; каждая контрада выставляет лошадь и нанимает жокея, который должен в отчаянной скачке, где разрешены любые толчки и удары, привести лошадь к финишу. Маленькая деталь: ни седел, ни стремян нет, и поэтому едва ли не половина лошадей к концу скачек оказывается без всадников. Пожалуй, коррида в Испании менее опасна, чем эти дикие конные скачки на каменной площади.

Передать словами тот азарт, с которым сиенцы проводят свой главный праздник, передать ликование победителей и отчаяние проигравших, конечно же, невозможно. Вот лишь несколько красноречивых деталей картины под названием “палио в Сиене”. За четыре дня до состязаний, после жеребьёвки, когда контрада получает свою лошадь, надежду на будущую победу, в каждом районе проходят церковные службы. Лошадей вводят в храмы, читают в их честь молебны, дают им поцеловать крест и завершают всю службу словами: “Иди и вернись победителем!” Чтобы такое “кошунство” было возможно, римскому папе пришлось издать специальный указ, позволяющий жителям города дважды в год осквернять таким образом храмы, ставить лошадей перед алтарями и воздавать им почести, какие воздают далеко не каждому человеку.

Победители скачек ежедневно и всей контрадой пируют три месяца. Столы накрывают прямо на площади, лошадь-победительницу, украшенную венками и лентами, ставят у стола на почётное место, дают ей выпить и закусить. Победители веселятся и пляшут, едят и поют, обнимают и целуют друг друга на зависть соседним контрадам. А едва отдохнув от трёхмесячной этой гульбы – или оправившись от поражения – все районы вновь начинают готовиться к палио: собирать деньги, чтобы нанять самого отчаянного жокея, репетировать шествие в средневековых костюмах, учить барабанщиков барабанить, а жонглёров – жонглировать разноцветными флагами. Палио – непрерывное возобновление и сохранение традиции – является центром и целью всей жизни сиенцев; вот уж воистину, их настоящее живёт прошлым. Точнее сказать: прошлое здесь, в Сиене, стало вечно длящимся настоящим.

Самых скачек в реальности я, к сожалению, не видел. Но по фотографиям, фильмам, рассказам – да ещё сидя на тёплых камнях знаменитой сиенской площади – нетрудно было представить безумие палио: тысячи зрителей, стиснутых цепью ограды, вопли толпы и посвист бичей, топот и храп лошадей, свалки из конских и человеческих тел на крутых поворотах трассы...

Я сидел на истёртых подошвами тёплых камнях – вокруг, на покатых булыжниках площади, сидело или лежало немало таких же туристов, – прихлёбывал из бутылки тёплое *Montepulciano*, закусывал коркой пшеничного хлеба... Можно сказать, что таким образом я *причащался Италии*, вкушая хлеб и вино этой благословенной земли, но думалось мне о России. Я думал: конечно, прекрасно, что здесь, в самом сердце Тосканы – а значит, и всей европейской культуры – так бережно сохраняется всё, что здесь было заложено издавна: стены ратуши, камни собора, булыжники площади. Прекрасно, что дух и традиции древности здесь живы, в том числе и в азартном кипении палио, в том священном безумии скачек, которым каждое лето, вот уже восемь веков кряду, болеет весь город.

И как же ужасно, что мы не храним и не ценим того, что у нас, русских, есть или некогда было: мы шагаем в грядущее, забывая историю, предков, обычаи, забывая, по сути, самих себя. Но при этом – вот в чём парадокс! – теряя так много, не храня, не ценя ничего из того, что так ценит Европа, мы всё же себя сохранили как особый, ни на кого не похожий народ, балансирующий на самом краю исчезновения и хаоса, народ, которого не должно бы давно уже быть, но который ещё существует, надеется, терпит и любит... Вот и пойми теперь, где живёт сердце народа, что питает его непостижную разумом душу и какая судьба предначертана нам, русским?

## VIII. ВОПЛОТИВШИЙСЯ ПРИЗРАК

*...Волшебный демон —  
Живой, но прекрасный.*

А. Пушкин

Пушкин посвятил Венеции всего несколько строк. Это строфа из первой главы “Онегина” и черновой набросок:

*Ночь светла. В небесном поле  
Ходит Веспер золотой.  
Старый дож плывёт в гондоле  
С догарессой молодой...*

Но строки, вынесенные в эпиграф, кажутся написанными именно о Венеции, об этом городе-призраке, о прекрасной блуднице на водах, которая вот уже много веков завлекает, чарует и сводит с ума всех, кто имел неосторожность посетить её. Даже мне, пожилому русскому доктору, побывавшему там мимолётно, до сих пор трудно освободиться от чар её миража, который словно всплыл из вод Адриатики и на целый день заключил нас в свои русалочьи объятия.

День был солнечным, ветреным, и знаменитого затхлого запаха вод, по которому даже слепой, говорят, распознает Венецию среди сотен других городов, — этого запаха тления мы не ощутили вовсе. Зато поразила нас та дымка, та солнечно-зыбкая марь, в которой был словно подвешен и медленно таял весь город — все эти ряды разноцветных палаццо, колонны и арки, столбы для причаливания гондол, вкривь и вкось торчавшие из зеленоватой воды, и сами гондолы, бесшумно скользившие по каналам и исчезающие в зыбком солнечном блеске.

Пожалуй, в Венеции нет ничего удивительней, чем эта лаково-чёрная лодка длиной 11 метров, похожая то ли на скрипку, то ли на узкую женскую туфлю со стелькой из красного бархата. Движение гондолы настолько легко и бесшумно, что кажется фокусом: не может же, думаешь, быть, чтоб всего лишь одно кормовое весло, лежащее в локте уключины, придавало гондоле такую свободу скольжения мимо окон, балконов, мостов, такую порочную, томно-изящную лёгкость? Мерещилось: этой таинственной лодкой управляют как будто ещё и иные, потусторонние силы; как будто гондола, а вместе с ней и гондольер, и его пассажиры решили отринуть бытийное бремя, отказаться от всех долговых обязательств перед жизнью — и заскользили с чарующей лёгкостью в ту манящую бездну, что ждёт-поджидает любого из нас...

Скажете: автор хватил через край? Но почитайте-ка Томаса Манна, его “Смерть в Венеции” — и мотивы *инферно*, которые там несомненно звучат, приоткроют вам многое в тайнах Венеции — в том числе, в тайнах венецианской гондолы. Да, гондольер перевозит нас в небытие — недаром же в пору чумных эпидемий эта женственно-грациозная лодка перевозила трупы на Сан-Микеле и на материк; именно это и стало причиной того, что теперь все гондолы покрашены в траурный цвет.

Однако и в облике, и в невесомо-ритмичном скольжении гондолы, кроме зова Танатоса, слышен и голос Эроса. Это лодка порока и страсти, место тайных свиданий, объятий и сладостных стонов, это своего рода постель для любовников, вынесенная из сырой тесноты венецианских жилищ на податливо-лунные воды лагуны.

Но оторвёмся же, наконец, от гондолы и посмотрим на город, который возник перед нами, словно мираж, из тающей мякоти солнца, прикрытого дымкой, из рефлексов той искристой ряби, что бегло играет по ветреной зыби лагуны. Город именно призрачен, он возник словно бы ниоткуда и вот-вот готов снова исчезнуть; смутное опасение, что чары скоро рассеются, и колдовской этот город растает, порождало в душе беспокойство и заставляло нас жадно, словно стараясь запомнить навеки, разглядывать эти каналы, мосты, купола и покрытые пятнами сырости стены домов.

Мы сошли с катера на Фондамента дельи Скьявони, Славянской набережной — спасибо, Венеция, за столь учтивый приём! — и чуть ли не сразу оказались в магазинчике, торговавшем муранским стеклом. Здесь, посреди разноцветно мерцавших витрин, в окружении пестроты и изящества, роскоши и утончённости, ощущение призрачности того, что нас окружает, стало почти

болезненным. Я догадывался, что кто-то из нас двоих бредит, но пока не мог решить, кто: я, ослеплённый обманками ультрамариновых, розовых, ярко-карминных и охристых стёкол, или весь этот город, построенный из отражений и бликов, обманов и чар, из неверных посулов, порочных намёков и из несказанной, сводящей с ума, красоты? Ведь то, что вокруг, вот на этих витринах – всего лишь цветное стекло; но Венеция убедила нас в том, что это стекло драгоценнее, чем драгоценные камни. Разве это не чары, не некий гипноз, в который века и века погружают заезжих людей, которые с благоговением и трепетом выносят отсюда цветные стекляшки, заплатив за них дикую, несоразмерную цену?

А маски, ещё одно из венецианских чудес? Трудно представить, но в пору расцвета венецианской карнавальской культуры маски носили по шесть месяцев в году, то есть половину сознательной жизни венецианец прятал лицо под личиной. Вы только представьте: половину всей жизни человек был не самим собой, но персонажем какой-то, может быть, ему самому не до конца понятной игры. Тот призыв и завет, который был обращён к людям ещё со времён Древней Греции: “Познай самого себя!” – в Венеции был заменён иным. “Забудь самого себя”, “скрой свой лик под личиной” – вот к чему призывали жителей Венеции в дни, недели и месяцы карнавальных безумств. Излишне говорить, в какой хаос обмана, убийств, шантажа и предательств погружался тогда весь ликующий, пляшущий город, в сущности, и сам построенный из шантажа и обмана, лукавых коммерческих сделок, коварных интриг... Карнавал вполне выражал суть этого города: Венеция с радостью снова и снова меняла лицо на личину, надевая обманную маску из папье-маше.

В лавке масок даже как-то жутковато. Все стены, от потолка и до пола, увешаны разноцветными масками; в глазах рябит ото всех этих блёсток и перьев; но из пустых глазниц словно тянет знобящим сквозняком. Кажется, загляни поглубже в эти чёрные дыры – и увидишь изнанку бытия, окажешься там, где нельзя, не положено быть человеку...

Масок, при всём их разнообразии, всего несколько типов. Вот рядами висят Коломбины, вот Арлекины и Пьеро – это всё персонажи традиционной *commedia dell'arte*; вот смешная личина врача с длинным носом: этот нос не позволял доктору слишком низко склоняться к заразным больным. Но главная маска – это, конечно, маска баута. Она мертвенно-белая, без каких-либо вычурных украшений, она закрывает почти всё лицо и напоминает посмертный гипсовый слепок, поэтому тот, кто её надевает, как бы репетирует собственную смерть. Что-то в душе холодеет, когда видишь эту маску или вертишь в руках этот лёгкий, почти невесомый и оттого ещё более страшный образ небытия.

Снова и снова звучит здесь, в Венеции, тема отказа от бремени жизни. Всё существование этого города – по крайней мере, с рокового для христиан и всего человечества 1204 года, – представляется долгим скольжением вниз; кажется, никогда и нигде, кроме разве что папского или цезарианского Рима, человеческие пороки – тщеславие, алчность, тяга к роскоши и разврату – не достигали такой концентрации, не расцветали так пышно и так соблазнительно, как в Венеции. В годы расцвета Венеция представляла собою одновременно всемирный банк, всемирную лавку роскоши и всемирный бордель, наглядно показавши, что эти три заведения не только прекрасно сосуществуют и ладят между собой, но и представляют собой единое целое.

Более развратного города, чем Венеция, в истории человечества, пожалуй, не бывало. В это трудно поверить, но по ревизии 1542 года число официально зарегистрированных проституток здесь достигало 10% населения города. Получалось, что на каждых двух-трёх взрослых мужчин приходилась одна “законная” проститутка, а кроме того, были ещё и нелегальные: служанки, неверные жёны – которые хоть и не платили налогов, но всегда были готовы утешить мужчин. Как только у венецианских кавалеров хватало прыти на такой грандиозный разврат?

И несомненно, что прелести куртизанок были важнейшим источником процветания Венецианской республики, ибо они были ничуть не менее доходны, чем, скажем, работоторговля. Конечно, хотя это и было дело постыдное, но оно приносило столь ощутимый доход, что на моральную сторону просто закрывали глаза.

Но за Венецией, этой великой блудницей на водах, водились грехи куда более тяжкие, нежели распутство. В 1204 году купцы и банкиры Венеции организовали IV крестовый поход, в результате которого был коварно захвачен,

сожжён, осквернён и разграблен христианский город – православный Константинополь. Более гнусной низости, более подлого предательства братьев по вере невозможно себе представить. Современный исследователь истории Венецианской республики, авторитетный Джон Норвич назвал захват и разграбление Константинополя в 1204 году “величайшей катастрофой в истории”. Ему вторит известный историк сэра Стивен Рансимел: “IV крестовый поход – величайшее в истории мира преступление против человечества”.

Львиную долю добычи захватила Венеция. Вот вам и чаровница-прелестница – вот вам и подоплёка всей этой роскоши, утончённости и красоты. Как воровская маруха, разряженная в награбленные тряпки и драгоценности, Венеция хочет забыть, откуда и как достались ей все эти богатства; но нам-то, которые кое-что помнят и знают, – нам не пристало заискивать и преклоняться перед этой развратной лживой красоткой.

Но есть и ещё один поворот этой темы. Не стань Венеция той, какой она стала, не сохрани она часть награбленных в Царьграде богатств, – кто знает, смогли бы мы с вами сейчас видеть мозаики в храме Святого Марка, те воистину неземной красоты переливы светящейся смальты, перед которыми только и можно вполне ощутить, какой высоты и гармонии достигала православная цивилизация Византии? Собор Святого Марка в Венеции – греческий по происхождению храм, где когда-то служил Патриарх, – пожалуй, только это и искупает всё остальное: и жуликоватость торговцев, и ту атмосферу разврата и тления, которой наполнен весь город, и даже, быть может, преступления Венецианской республики перед человечеством. Если есть это, и оно до сих пор и доступно для обозрения и живо, то всё остальное не так уж и важно. Главное – в том неиссякающем свете, который на нас изливается с этих мозаик, в том сиянии истинной веры, перед которым – и это здесь чувствуешь всем своим существом – отступает сама неотступная смерть. Не знаю, как передать словами это необычайное чувство, но пока я стоял в золотистом сиянии, наполняющем этот собор, я с совершенным и полным сознанием истины знал, что уже никогда не умру. Я сознавал, что есть вечность, и я к ней причастен какой-то важнейшей, неистребимой частью самого себя...

А потом мы опять оказались на площади Сан-Марко, и перед нами опять замелькали туристы, фасады и арки, и Джулиана, наш проводник, опять повела нас по каменным джунглям Венеции. Но странное дело, теперь совершенно другими глазами воспринимал я всё то, что видел. Если раньше, до храма Святого Марка, я переживал нетерпеливую, полную жадного любопытства встречу с Венецией, то теперь это было прощанием. Словно пройдя некую точку возврата, я смотрел на Венецию, уже удаляясь от этих каналов, мостов, площадей, этих нагромождений из камня, в которые мерно плескалась вода, этих лаковых клювов гондол, что бесшумно, как призраки, появлялись из-за угла, проплывали и исчезали за поворотом. Может быть, это было прощанием с жизнью, с её миражами, обманами, прелестью и красотой? Я не знаю. Но помню, как больно мне было осознавать нашу с нею – с Венецией? с жизнью? – разлуку. С меня будто сдирали заживо кожу, и на душе оставалась саднящая рана. Все впечатленья последнего часа – и цыганки на розовом мраморе у стены Дворца Дожей, и качавшиеся гондолы у свай, и крылатый лев на колонне, и ступени, сходящие в воды лагуны, и дымка, в которой тонул Сан-Микеле, – всё это запомнилось так, как, наверное, осуждённому на эшафоте запоминаются доски помоста и стоптанные сапоги палача...

Разлука с Венецией стала невыразимо печальна: как будто действительно этот таинственный город меня растворил, уподобил тому миражу, каким он является сам, и на том вапоретто, что вскоре отчалил от пристани, осталась одна лишь моя бестелесная тень...

## IX. В РУКАХ ВЕЧНОСТИ

*Ты как младенец спишь, Равенна,  
У сонной вечности в руках...*

А. Блок

После Венеции надо было хоть немножко прийти в себя. После того, как мы были словно растворены в миражах, отражениях, бликах обманного города, этой русалки, так соблазнительно всплывшей из вод Адриатики, после того,

как душа — как бы это сказать? — растеклась по горизонтали, потеряла границы и ориентиры, надо было восстанавливать вертикаль.

Вот этим-то восстановлением вертикали и стала поездка в Равенну. Истинный символизм, как писал Андрей Белый, совпадает с истинным реализмом; вот и блоковский поэтический символ Равенны — спящий младенец — совершенно естественным образом оказался не где-нибудь — в нашем вагоне. Пухлый ребёнок — кажется, мальчик — посапывал, чмокал, пускал пузыри на коленях у матери; и почти все итальянцы, проходившие мимо, умилялись, склонялись над ним и улыбались толстушке-мамаше, которая радостно и благодарно улыбалась в ответ. Культ младенца в Италии так же естествен, как и культ матери или культ старика, — возможно, ещё и поэтому так блаженна и счастлива итальянская жизнь.

Равенна нас встретила зноем и благостной тишиной — такой непривычной после сутолоки и суеты экскурсионной недели. Стараясь держаться теневой стороны улиц — зной, хоть и майский, уже допекал — мы брели по пустынно-му, в самом деле дремотному, городку. Дрозды, щебетавшие в кронах пиний и лип, были слышней, чем машины; с газонов пахло свежескошенной травой; а синева неба над крышами была столь чиста и пронзительна, что смотреть на неё было как-то даже неловко: словно ты был недостоин такой чистоты.

Справляясь с путеводителем, мы посетили пять главных точек Равенны: четыре базилики и баптистерий. Так уж случилось, что здесь, в этом городке итальянской провинции, сохранилось так много мозаик византийского происхождения, что Равенна стала как бы филиалом Константинополя, напоминанием о той великой цивилизации, которую ограбила и разорила католическая Европа.

Чтобы описать те мозаики, что мерцают под сводами базилик Равенны, надо иметь другое перо и другую — высокую — душу. Но и тогда вряд ли будет возможно выразить словом тот свет, что исходит от них, передать целомудрие ликов, гармонию тел и цветов, рассказать о том состоянии благоговения и тишины, в каком пребывали мы, зрители, созерцая — нет, даже не образы, не композиции — созерцая ту вечность, что тихо струилась на нас с куполов Византии.

А если представить, что эти мозаики некогда были всего только частью гармонически-сложного торжества Литургии, что в этих храмах мерцали свечи, дымилась паникадила, басу диакона отвечали раскаты и трели церковного хора, и дароносица возносилась над алтарём, и звучало по-гречески: *ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΝΟΝ* — “Господи, помилуй!” — то понимаешь, что именно вечность хранили в себе и собой выражали православные храмы и службы Равенны. Ощущение вечности, вдруг сгущённой до мига, и мига, который способен заполнить вечность, с гениальной силой выразил русский поэт Осип Мандельштам, строки которого словно бы продолжают рассказ о Равенне.

*Вот дароносица, как солнце золотое,  
Повисла в воздухе — великолепный миг!  
Здесь должен прозвучать лишь греческий язык:  
Взят в руки целый мир, как яблоко простое.*

*Богослужения торжественный зенит,  
Свет круглой храмины под куполом в июле,  
Чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули  
О луговине той, где время не бежит.*

*И Евхаристия, как вечный полдень, длится,  
Все причащаются, играют и поют,  
И на глазах у всех божественный сосуд  
Неиссякающим веселием струится.*

Дольше всего мы задержались в баптистерии Святого Иоанна — там, где наглядность той вертикали, что соединяет нас с небом, была явлена с ангельской, прямо-таки детской простотой. Наверху, в самом зените — Бог-Вседержитель; на куполе — таинство Крещения Христа, Сына Божия; ниже, по окружности купольного барабана, Святой Дух огненными языками нисхо-

дит к Апостолам и, наконец, сила животворящего Духа спускается и на того, кого омывают в крестильной купели, то есть на человека-христианина. Вертикаль “Бог — Христос — Апостолы — человек” явлена здесь, в баптистерии Сан-Джованни, с такой прямоотой и силой, что отныне уже невозможно не знать: мы — дети Бога и братья во Христе. Вертикаль восстановлена, смерти нет, вечность свершилась над нами. . .

Вот это и есть настоящее возрождение человека — его возрождение в духе. А тот Ренессанс, о котором толкуют нам путеводители и экскурсоводы, — это, сказать откровенно, никакое и не возрождение, это — падение человека. Нужно быть совершенно слепым и нечутким, чтобы, например, в завитушках барокко, порочного папского стиля, видеть якобы некое “достижение” и “совершенство”. Да *разуйте же глаза*, посмотрите, хоть в той же Равенне, чего стоят все “достижения” Ренессанса в сравнении с ясностью, светом и чистой византийской мозаик! Ведь в храмах Равенны как будто нарочно совмещены два искусства: византийское и *возрожденческое*. В одном из приделов — мозаики, яркая смальта которых доселе, спустя столько веков, дышит вечной гармонией, радостью, силой; в остальных частях храма — росписи более поздних эпох: претенциозные, пышные, тусклые, вялые. Не нужно быть искусствоведам, чтоб сделать свой выбор мгновенно, по зову души и велению сердца: конечно же, за Православием — свет истинной веры и вечности, свет красоты. Здесь именно красота выступает критерием Истины; и она здесь иная, чем, скажем, в Венеции. Если там, в этом тающем городе-призраке, ты и сам ощущал, как теряешься, таешь, словно присутствуешь на репетиции собственной смерти, то здесь, в гармонически-ясном, торжественном свете равеннских мозаик, ты как бы рождаешься заново. В тебе прибавляется радости, мужества и доброты; становишься как-то мягче и тверже одновременно; а то, что с тобою здесь происходит, можно назвать репетицией вечности. . .

Наверное, к этому мы, по сути, и ехали, в этом и был метафизический смысл нашего итальянского путешествия. Мы испытали в Равенне примерно такое же чувство, как послы Владимира Крестителя, которые признавались ему, побывав в Византии: “Не знаем, где были мы, на земле иль на небе. . .”

И так было странно потом, посетив православные храмы Равенны, брести по булыжникам улиц, поделенным на солнечные и теневые, затем выйти на Пьяцца дель Попполо, Народную площадь, и посмотреть на башенные часы. Их ажурные стрелки, заколдовав-заморочив самих себя, пытались внушить нам представление о времени, наивно не понимая, что никакого времени не существует, а есть только сгущения и разрежения вечности, есть её вдохи и выдохи, её зыбко-прозрачные воды, сквозь которые, как драгоценности на мелководье, мерцают и светятся мозаики истинной веры. . .

## X. DOLCE ITALIA

*Что устрицы? Пришли? — о, радость!  
И мчится ветреная младость  
Глотать из раковин морских  
Затворниц жирных и живых,  
Слегка обрызнутых лимоном...*

А. Пушкин

На Римини можно смотреть с разных точек зрения и, соответственно, по-разному его описывать. С одной стороны, это город Феллини — именно его фотографии встречают всех приземлившихся в аэропорту, который носит его имя. Здесь улицы названы в честь его фильмов, здесь есть музей мастера и парк Феллини — здесь царит настоящий культ этого великого мастера.

С другой стороны, Римини — самый русский город в Италии. Родная речь слышится здесь на каждом шагу, в ресторанах — меню на русском языке, в аэропорту, среди множества национальных флагов, развевающихся на флагштоках, наш флаг занимает почётное третье место: после итальянского и британского. Это при том, что в других городах Италии нашего *триколора* не сыскать днём с огнём.

Римини знаменит и своими античными памятниками. Так, мост Тиберия, возраст которого равен двум тысячам лет, — самый старый из действующих

мостов мира. Мягкая мощь пяти его арок, симметрично отражённых в зеленоватой воде, чем-то напоминает усталого льва: постаревшего, грузного, полуслеплого, но всё-таки льва, не забывшего о своей былой силе и своём имперском происхождении. А на другом конце улицы, проходящей от моста Тиберия через центр Старого города, — арка императора Августа. Её воздвигли в честь завершения строительства Фламиниевой дороги, соединившей Римини с Римом. Как-то случилось мне завтракать, сидя напротив этой арки, разложив еду на скамейке под пинией. Отхлёбывая вино из бутылки, закусывая моцареллой и норчинским окороком, я старался представить себя постаревшим легионером, который вот так же, сидя в тени, запивает вином сыр и хлеб и смотрит на эту тяжёлую арку, смысл которой лишь в том, чтобы напоминать всем и каждому о величии и несокрушимости Рима. Оказалось, однако, что арка Августа на полторы тысячи лет пережила империю, о величии которой так убедительно напоминала публике. Интересно, думал ли тот захмелевший легионер, которого я себе воображал, что арки, колонны и обелиски окажутся долговечней империи, и что любое подобное сооружение есть, по сути, надгробье, которое эпоха устанавливает самой себе?

Ещё Римини — самый демократичный (то есть дешёвый) итальянский курорт. Как пишут в путеводителях, отдыхающих привлекает, прежде всего, “бурная ночная жизнь города”. Это значит, что здесь очень много борделей и проституток. И действительно: даже в мае, до начала сезона, главную улицу городка, километров на пятнадцать растянувшегося вдоль побережья, с наступлением темноты патрулируют жрицы любви.

Но это так, к слову. Я хотел написать о другом: о кулинарных, столь памятных мне, впечатлениях от Римини. Начну с рассуждения. Каждый народ несёт своё собственное, формировавшееся столетиями, определение родины, в котором он выражает её образ и суть. Так, француз скажет: “прекрасная Франция” — выражая тем самым своё отношение к ней, как к возлюбленной, как к желанной и полной очарования женщине. Для англичанина родина — “старая добрая Англия”, то есть мать, хранящая всё богатство традиций, семейных привычек, уклада и быта. Для русского образ родины — это “Святая Русь”, то есть мечта о просветлении той неприглядной реальности, в которой мы с вами живём, но которую всё же надеемся, с Божьей помощью, преодолеть, возлюбить и спасти.

А вот итальянцы обращаются к родине: “Dolce Italia”. То есть для них важнее всего вкусовое восприятие родины: их Италия — сладкая!

Поэтому и разговор о еде здесь, в Италии, имеет совершенно иное значение, чем в других странах; здесь это не просто досужая болтовня, но способ постижения национальной идентичности, понимания ее сердца — читай, желудка. То, что желудок и сердце у итальянца расположены так близко друг к другу, они признают и сами — такими их создал Господь. Они, с нашей точки зрения, язычники ещё и в этом смысле: то есть люди, поклоняющиеся языку как органу вкуса.

Кулинарные впечатления Римини начинаются с местного рынка. Здесь всё гудит, гомонит, оживлённо и радостно спорит, кажется, век бы не покидал этой упоительной толчеи, этого праздника быта, в котором, при всей его возбуждённости, так много радостного покоя. Ни в одном из музеев Италии так не почувствовать духа страны, как на субботнем галдящем и суетном рынке. Именно здесь понимаешь, сколь бледно, условно и приблизительно то, что нам предлагает искусство, по сравнению с этим кипеньем эмоций и буйством цветов, с поющими переливами речи и пляской жестикюляции, с этим хохотом, руганью, блеском в глазах — со всем, словом, тем, что называется “итальянская жизнь”.

Вдоль рыбных, к примеру, рядов проходишь буквально с открытым от восхищения ртом. Колотый лёд за витринными стёклами серебристо мерцает; а на крошечном льда разложены угри и форели, тунцы и лососи, и ещё незнакомые, странные рыбы невиданных форм и цветов.

Здесь же великое множество прочих обитателей моря. Вот “полипо”, то есть осьминоги, чьи сиренево-зеленоватые щупальца с рядами нежнейших присосок почему-то наводят на мысли об инопланетянах. Вот вялые бурые каракатицы: из их чёрно-лиловых чернил готовят соус к спагетти. Вот груды кальмаров, от крошечных, как паучки, до увесистых и мускулистых, напоминающих по форме сердце.



А это что, интересно, за бурые камни? Бесформенно-грубые, в нитях водорослей, они словно бы по ошибке попали в съестные ряды. Ба, да это же устрицы, деликатес из деликатесов, да ещё, как говорят, способствующий мужской силе! Не знаю уж, как насчёт силы, но выглядят они, в самом деле, внушительно.

Вообще, моллюсков здесь в Римини, продают и съедают великое множество. Местные жители ходят здесь за ними на побережье, как мы с вами в лес по грибы. Выходя утром купаться, я всякий раз встречал пожилых итальянок, неспешно бредущих вдоль моря и ковыряющих палками влажный песок: так они собирают съедобные ракушки.

Некоторые из моллюсков так нарядно-изысканны, что напоминают ювелирные украшения. Таковы, например, бело-розовые гребешки: именно на такой вот фестончатой раковине плывёт Венера у Боттичелли. Да и сам моллюск бело-розовый, очень красивый; на вкус же он – нечто среднее между рыбой и курицей.

На другой день, ближе к вечеру, мы посетили театр рыбного ресторана. Это был именно театр, то есть представление, в котором мы являлись и зрителями, и участниками одновременно. Официант, брутального вида мужчина со шрамом на левой щеке, – он напоминал мафиози средней руки – обсуждал со мною меню вполголоса, с таким скорбным, серьёзным лицом заговорщика, словно речь шла о плане свержения власти в стране. Вино, которое выбрал я, он решительно забраковал. “*No, signor, no!*” – трагически морщился он, словно мой выбор причинял ему нестерпимую боль. – Что до меня, я бы выбрал вот это... Но он указал на тосканское белое урожая 2005 года; я согласился; официант вытер со лба пот с таким облегчением, словно мы с ним только что избежали опасности, грозившей разрушить наш разговор.

Мы заказали: полдюжины гребешков, рыбу на гриле, тигровых креветок под солью и, наконец, – гулять, так гулять! – диковинного для нас омара. Ужин шёл своим чередом – вино оказалось и впрямь неплохим, рыба – отличной, креветки чуть суховаты, но когда в зал ресторана внесли поднос со сверкавшими хирургическими инструментами, я понял, что с омаром, кажется, я погорячился. Не имея понятия, зачем в ресторане нужны рёберные кусачки Листона, я выглядел, должно быть, растерянным. Недаром и наш официант-мафиози, и его молодые приятели поглядывали на меня с любопытством и плохо скрытой насмешкой: дескать, сейчас позабудемся, наблюдая, как этот русский будет мучиться с нашим омаром! Может, так и оставит его неразделанным? То-то будет потеха...

Скоро внесли и этого жуткого зверя-омара: его глазки смотрели колюче и зло, огромные бородавчатые клешни торчали угрожающе, усы в локоть длиною, покачиваясь, свисали с овального блюда – это бронированное страшное лицо напоминало дракона, который вот-вот оживёт и тогда непременно нас всех растерзает. Официант грохнул на стол тяжеленное блюдо – аж зазвенела посуда! – и сколил на меня издевательский глаз: ну, что ж, дескать – воюй!

Отступать было некуда. Я вздохнул, взял тяжёлые, холодившие руку, кусачки – и ринулся в битву. Осколки толстого панциря полетели во все стороны – один из них ударил мне в грудь, другой в потолок, а третий, кажется, угодил в лоб стоявшему за моей спиной официанту. Тот застонал, отшатнулся – его молодые товарищи захохотали, – но я, не обращая внимания на неизбежные в воинском деле потери, продолжал сокрушать упорно сопротивлявшегося дракона. Компания официантов, похоже, была разочарована: эти парни явно ждали иного исхода. Но откуда же им было знать, что мой хирургический стаж – двадцать шесть лет, и что русских омаром не испугаешь?

Минут через восемь всё было кончено. Стол был усеян осколками панциря и забрызган масляным соусом, я отирал салфеткой лицо и руки, а официант-мафиози, склонившись ко мне, уважительно прохрипел почему-то по-английски: “*It was beautiful...*” – “Это было великолепно...”

Вы, может быть, спросите: вкусен ли был этот самый омар? Но вкуса его я почти не запомнил: уж очень непросто достались мне эти комочки белого мяса. Но точно помню, что после битвы с омаром я вышел из ресторана голодный и протрезвевший, с пустым кошельком и с чувством недоумения: зачем мы вообще сюда заходили? Ради, разве что, шоу – которое, правду сказать, удалось.

## XI. РОДИНА ГЕНИЯ

*Средь множества картин старинных мастеров  
Одной картины я желал быть вечно зритель...*

А. Пушкин

Едем в Урбино, на родину Рафаэля. Если считать, что гений особенно полно и глубоко выражает образ страны, несёт в себе тайну народа, и соглашаться, что Рафаэль — величайший живописец Италии, страны живописцев, то и в Урбино отправишься с чувством необыкновенным. Когда узнаешь что-то о месте, где человек родился и провёл детство, то узнаешь важное, — может быть, главное — и о самом человеке. В случае с Рафаэлем, первым художником всех времён и народов, ожидаешь узнать что-то важное и об Италии, о стране, чья душа заговорила через его вдохновенную кисть.

Интересно, что, думая о Рафаэле, почти всегда видишь внутренним взором и двух его, так сказать, братьев: Моцарта и Пушкина\*. То есть в каждом из основных искусств — живописи, музыке и литературе — есть гений непревзойдённый, тот, кто собой выражает искусство как таковое, в его самом чистом, возвышенном, радостном виде.

Эти трое — всегда на вершине Олимпа; и если увидишь, услышишь или прочтёшь одного, то сразу почувствуешь рядом и двух других. А уж то, что сроки земной жизни гениев оказались почти одинаковы, объединяет их в некое братство бессмертных, союз “сыновей гармонии”.

И поэтому по дороге в Урбино, пока наш автобус, петляя, забирался всё глубже в холмы, то бело-розовые, то алые от цветущих каштанов, акаций и маков, в ушах непрерывно звучала Сороковая симфония Моцарта; вспоминался и Пушкин — то из него, что созвучней всего итальянским мотивам. К примеру, вот это, “Из Пиндемонти”:

*По прихоти своей скитаться здесь и там,  
Дивясь божественным природы красотам,  
И пред созданьями искусств и вдохновенья  
Трепеща радостно в восторгах изумленья...*

Впрочем, Пушкина можно цитировать целиком и подряд, — он всегда будет созвучен всему, что есть в мире прекрасного. А что-либо прекраснее этой дороги, мягко взлетающей между холмами Марке — да ещё в мае месяце! — право, трудно себе даже вообразить. Если есть рай — а, наверное, всё-таки есть, раз мы так часто и вспоминаем о нём, мечтаем о нём, — то в нём не может не быть этих вот итальянских холмов, на чью свежую зелень там и сям положены бело-розовые мазки, этих плотных, как бы нарисованных на синеве, облаков, и этих прямых, расходящихся с неба, лучей, на которые, кажется, опирается солнце, — лучей, как бы тоже сошедших с картин рафаэлевской школы.

То есть пейзаж, открывавшийся нам в разных ракурсах с поворотов дороги, словно бы непрерывно цитировал живопись — в том числе, и Рафаэля; он пытался (и, прямо скажем, с немалой сноровкой и мастерством) как бы строить себя по подобию гениальных его картин. Впервые я видел, что не живопись подражает природе, а, напротив, пейзаж подражает картинам, старается стать столь же лёгким и просветлённым, как и тот идеал, что возник перед внутренним взором художника.

И тот городок, что лепился вон там, впереди, к скалистым обрывам горы, — городок, чьи желтовато-песочные стены и черепичные крыши перемешались густой зеленью каштанов и лип, — городок этот словно был нарисован на склоне холма. Маленький, ладный, какой-то игрушечный, так и хотелось взять его на ладонь... Урбино казался не то декорацией к сказке, не то воплощённым сном. “Неужели, — подумалось мне, — там просто живут люди, а не какие-нибудь эльфы или гномы?”

\* Разумеется, так видит великую троицу гениев русский; немец назвал бы третьим Гёте, англичанин — Шекспира, итальянец, скорей всего, — Данте.

Оказалось, что жили там, большей частью, студенты: Урбино знаменит своим университетом. Когда мы поднимались от городских ворот по крутым улицам-лестницам, останавливаясь, чтобы сделать очередной фотоснимок, который, конечно, не передаст ни вот этого нежного воздуха, полного запахов кофе и утренней выпечки, ни таинственной глубины перспективы, в которой тонул многоярусный горизонт, ни толчков напряженного сердца, ни наших частых, взволнованных вдохов и выдохов, ни стука подошв по камням, ни томления от невозможности выразить или хотя бы запомнить всё то, что ты видишь и чувствуешь, — так вот, когда мы поднимались к Палаццо Дукале, навстречу шагали, смеясь и болтая, десятки студентов, искавших, где бы им перекусить в перерыве между лекциями. Много было студенток, и очень хорошеньких. У меня уже ныло в груди: даже не столько от напряженья подъёма и дивных видов Урбино, сколько от этих блестящих, смеющихся глаз на святых юностью лицах. Вместо того чтобы встретиться в Урбино что-нибудь древнее, чинно-музейное, — старинные камни, картины и фрески, благоговейную память о Рафаэле — я встретил здесь живую, беспечную молодость.

И я узнавал свет, надежды, томление собственной юности, что осталась в далёком Смоленске, в этих лицах, глазах, голосах, что меня окружали в Урбино. Неужели, действительно, молодость вечна, лишь переходит из души в душу или из эпохи в эпоху? Я как-то сразу и вспоминал себя, молодого — и вообразил себя здешним, урбинским студентом. Воспоминание, соединившись с мечтой, обрело неожиданно-достоверную силу, получило весомость реальности. И вот мне уже не пятьдесят, а всего только двадцать, мой шаг стал упругим, взгляд жадным — и я, как когда-то, одновременно застенчив и нагл в обращении с девушками, с теми, кто так безраздельно сейчас занимается и душу, и ум, и мечты молодого студента. . .

Если бы мы, наконец, не подошли к дворцу герцога Монтефельтро, то я, может быть, потерялся бы в собственных грёзах и поныне блуждал бы в декорациях сна наяву, где переулки Смоленска смешались с улицами Урбино, где прошлое стало вдруг явью, а явь стала грёзой. . .

Но реальность ревнива: она ничего не желает отдать, никого — отпустить, и всех, кто пока ещё жив, возвращает к себе. Вот поэтому мы и бредём сейчас гулками залами герцогского дворца. Здесь зябко и пусто; душа отдыхает лишь около окон, в которых сквозит небесная синева, зелень дальних холмов и у которых мы, узники, заточённые в цепи реальности, чувствуем дыханье свободы и рая.

Вы спросите: как же картины? Но в том-то и дело, что живопись Ренессанса, в её подавляющем большинстве, меня оставляла почти всегда равнодушным. Я лишь удивлялся тому, что столько людей, слывающих ценителями и знатоками, из поколения в поколение восхищаются аляповатой, серийной, ремесленной живописью Возрождения. Современники этих всех мастеров, основателей школ и носителей громких имён, относились к ним, кажется, более трезво: как известно, живопись в средневековой Италии была делом малопочтенным. У художников не было даже собственной гильдии: они входили, как низшие и подчинённые — как своего рода внебрачные дети, бастарды — в гильдию врачей и аптекарей.

Но это всё, разумеется, не относится к Рафаэлю, бесспорному гению. Здесь, в залах дворца Монтефельтро, мы увидели всего лишь один женский портрет его кисти, но этот портрет, на мой взгляд, куда лучше знаменитой “Джоконды” да Винчи с её леденяще-холодной змеиной усмешкой. Рафаэль написал лицо молодой грустной женщины (не Форнарины, но тоже красавицы), смотреть на которое хочется бесконечно. Самой живописи — то есть мазков, композиции, света и перспективы — как-то и не замечаешь; и даже не очень-то пристально смотришь и на само это нежное, грустное, глядящее в сторону лицо, но зато с болью и радостью чувствуешь: Боже мой, как печальна и как хороша вся эта странная, сну подобная, жизнь. . .

Эта картина, единственная из всех, тоже была как бы неким окном, возле которого тяжесть реальности не так уж сильно давила, — окном, из которого к нам доносилось дыханье иного, не омрачённого смертью и временем мира.

Замок герцога расположен почти на вершине всего городка; пересекая Урбино по булыжным его мостовым, мы уже не поднимались — спускались. Студентов на улицах не убывало. Похоже, они здесь и вовсе не учатся, а только и бродят из улицы в улицу, гомоня на певучем своём итальянском да кусая

на ходу огромные пиццы. Вид жующих студентов напомнил: пора бы и нам где-нибудь перекусить. В первом же подвернувшемся по пути магазинчике взял вино и п्याдину — лепёшку с начинкой из сыра и ветчины.

Стали думать: куда бы присесть? И тут снова сработал “закон итальянской скамейки”. В Италии, стоит только подумать: “Эх, хорошо бы присесть да полюбоваться этими видами!” — как тут же подворачивается скамейка, словно кто-то невидимый носит её за тобой и мгновенно устанавливает там, где нужно.

С той скамьи, на которую мы уселись в Урбино, открывались волшебные дали. Горизонт таял в нежно-палевой дымке; волны холмов, расстилаясь пред нами, показывали все оттенки зелёного цвета, от бледно-салатового до почти чёрного, а тени от облаков так легко, невесомо скользили по склонам, что всё — и холмы, и дороги, и черепичные крыши домов — обретало такую же, почти невесомую лёгкость. Казалось, что это не столько реальный пейзаж, сколько чья-то мечта или сон. Очередная проплывшая над нами тучка сбросила несколько капель дождя; но он был так скоротечен и робок, словно это был не дождь, а только сон о дожде. “Из снов составлена и сном окружена вся наша маленькая жизнь...” — писал Шекспир в “Буре”; если так, то и сон, что нам снился в Урбино, был поистине райским...

## ХII. ВОЗВРАЩЕНИЕ

*Путь зело прискорбен и труден...*

Из отчёта стольника П. Толстого  
о путешествии в Италию

Как выражался кумир нашей юности Хемингуэй, я не написал ещё очень о многом. Не написал о прогулках вдоль моря и о футболе, без которого не представить себе современную Италию, как Древний Рим не представить без боёв гладиаторов. Не написал о фонтане Треви под дождём и о болгарской церкви напротив — той, в которой мы пережидали ненастье. Не написал о скутерах в Риме, ревущих так, словно уже наступил Судный День, и о поющих кондукторах, продавцах, официантах. Не написал о спагетти и о брускетте, о граппе и о лимончелле — вообще о том культе застолья, с которым в Италии можно сравнить только культ Девы Марии.

Да мало ли! Обо всём, разумеется, не написать; тем более что Италия — это нечто настолько разнообразное, ускользающее от определений и формул, что попытки её описать — то есть закрепить на бумаге живую, подвижную жизнь — заранее обречены на неудачу.

К тому же, мы знаем несколько разных Италий. Одно дело — античный Рим, с его дорогами и правопорядком, с чеканной латынью, словно специально созданной для военных приказов и афоризмов, с его терминами и гладиаторскими боями, с пирами Лукулла, с жестоким развратом Калигулы или Нерона, с горестной мудростью Марка Аврелия...

Другое дело — Италия Возрождения, рассыпанная на города-государства, непрерывно враждующие между собой, то почти вымирающие во время чумных эпидемий, то вновь оживающие благодаря торговле и ростовщичеству, Италия развратнейших пап, признаваемых, тем не менее, “непогрешимыми”, — и художников, чьи творения до сих пор подкармливают страну: весь мир стремится сюда, чтобы, так сказать, *приобщиться к прекрасному*.

А есть Италия современная, поделённая на двадцать областей, каждая из которых отличается своим диалектом и кухней, природой, традициями и экономикой. Все эти Италии очень различны. Современный певучий и мягкий итальянский язык так же мало похож на суровую бронзу латыни, как нынешний итальянец-красавчик в модных тёмных очках, белоснежной рубашке и шарфике мало похож на римского легионера, затянутого в кожу и закованного в латы.

Да и в итальянском характере немало противоречий. Так, итальянцы порывисты, шумны, активны — при поразительной нелюбви к переменам. Похоже, для них что-нибудь предпринять — мука мученическая; итальянец готов на любые усилия и любую активность, лишь бы ничего — ну, совсем ничего! — не менялось.

Примеров “пламенного бездействия” итальянцев не счесть. Вспомню лишь случай, произошедший с моим сыном Дмитрием. Он, тогда студент-медик, путешествовал по Италии на электричках в компании таких же смоленских студентов. На одной из станций парень по имени Саша отстал — и Димке ничего не оставалось, как рвануть ручку стоп-крана. Тормоза зашипели, поезд остановился, и очень скоро в вагоне появился кондуктор с двумя дюжими карабинерами. Крича, жестикулируя и ругаясь на чём свет стоит — “Mamma mia!” и “Santa Maria!” звучали почти в каждой фразе, — трое итальянцев наперебой объясняли русскому парню (продолжающему удерживать рычаг стоп-крана), что он-де преступник, он создаёт аварийную ситуацию на дороге, и что его ждут страшные кары, как земные, так и небесные. Но Дмитрий уже видел Сашу, бегущего по перрону, и поэтому держал стоп-кран до последнего: русские своих не бросают.

И вот что поразительно: трое здоровых мужчин, остервенело ругаясь, махая руками, исходя, так сказать, праведным гневом, даже пальцем не прикоснулись к юноше, действительно создающему аварийную ситуацию на железной дороге! Да схвати они парня за шиворот, оторви от стоп-крана и пинками вытолкай из вагона — кто бы сказал, что они поступают неправильно? Но итальянцы не сделали ничего подобного; и это при том, что энергии на возмущенье и крики потратили столько, что этими силами вполне можно было бы, например, штурмовать небольшой городок.

Вообще, я испытываю к жителям Апеннин странное, двойственное чувство: я ими искренне восхищаюсь, я их даже люблю, но никогда, ни за что на свете я не хотел бы быть итальянцем. Мне всё кажется, что прожить жизнь так, как её проживают в Италии — значит, прожить её, хоть и с большим удовольствием, но совершенно впустую.

Нет нужды говорить, что всё это лично моё, субъективное мнение; но пребывание в Италии среди самоуверенных итальянцев научило меня уважать своё мнение больше, чем это было доселе.

И ещё: моё отношение к Италии чем-то похоже на отношение к женщине. Эта страна и сама, словно женщина: очень красивая, манкая, часто кокетливо-лживая, бесконечно играющая некую театрально-декоративную роль. И меня к ней, естественно, тянет; но я — повторяю — никогда, ни за что бы не согласился сам стать итальянцем.

Но с другой стороны, полюбив и прочувствовав райскую эту страну, я в чём-то, наверное, “обитальянился” (уж простите мне этот уродливый термин). Так, я стал больше ценить досуг; безделье, столь тягостное недавно — итальянцы называют его *dolce fare niente* — повернулось ко мне самой сладкой своей стороной, лишённой мук совести или томления скуки.

Да что там: даже и эти заметки, которые я только что перечитал, написаны словно бы итальянцем. В них слишком много слов, в них избыток эмоций и даже, отчасти, кокетства, в них многовато пустой трескотни, но я не хочу вычищать итальянский “налёт” в своём тексте. Пусть остаётся — как память об этой стране и о том, как я её полюбил. Ведь мы, русские, тем и особенны, что переимчивы, чутки, отзывчивы; любой звук или мысль, прозвучавшие где-то, уже звучат словно о нас и для нас; “нам внятно всё”, как писал Блок.

Размышляя об этом, я даже понял, почему мы — единственный в мире народ, обозначающий свою национальную принадлежность не существительным — как “немец”, “француз”, “англичанин”, а прилагательным: “русский”. Дело в том, что наше-то существование, наша суть — это человек как таковой, вообще человек. Суть русских всемирна, вот именно — по Достоевскому — *всечеловечна*. Если сущность любого иного народа как бы частична, не столь широка (и может быть выражена частичным понятием “немец”, “испанец”), то русская сущность — всеобща. Русский — прежде всего человек, и только потом уже — русский.

Это простое соображение объясняет многое и в нас самих, и в наших, таких драматических, отношениях с миром. Чужое, то есть *всечеловеческое*, нам часто дороже и ближе, чем собственное своё; потому что мы это чужое воспринимаем глубинно-своим. Нас, русских, не защищает национальная маска — она же броня! — мы открыты для всех, беззащитны пред всеми; нам так трудно держаться шаблона, традиции, жеста, национальной привычки, потому что всего этого — жеста, привычки, шаблона — у нас нет по определению, по причине глубинной *всечеловечности* русских.

И, конечно, нет тяжелее ноши, чем та, что ложится на русских: чем эта обязанность быть человеком для всех, чем это призвание и долг ощущать всех как самих себя, и себя — как бы всеми иными. Мудрено ли, что мы так часто падаем или ломаемся под непомерною тяжестью этой всечеловеческой ноши?

Надо было, конечно, съездить в Италию, чтобы это почувствовать и осознать. Выходит, я съездил сюда, к итальянцам, на встречу с самим собой; и постольку, поскольку отчасти я стал итальянцем, я стал ещё более русским.

Возвращались же мы как раз в День Победы. Было пасмурно, но тепло, всё вокруг зеленело, и чувство радости от возвращения, от того, что вокруг звучит русская речь, было смешано с грустью от расставания с Италией. Я думал: конечно, Италия — лучшая из возможных реальностей, воплотившихся в нашем земном бытии; но в том-то и дело, что с одной лишь реальностью наше сердце упорно не хочет мириться. Жизнь — это жизнь, как она нам дана, плюс ещё что-то, чего в жизни нет; и как раз это неуловимое что-то и составляет ту сердцевину всего бытия, без которой всё остальное рассыплется в мусор и прах. Найти это что-то в Италии мы не сумели; больше того: нам показалось, что именно там, в этой райской, счастливой стране шансы на обретение этой неуловимой *присадки* к реальности ничтожно малы. Там, где люди так счастливы, так довольны собой и окружающим, — там незачем ни томиться в бесплодной тоске, ни ломать свою жизнь ради жизни иной, непонятной и призрачной, вечно недостижимой...

Ничего, не беда: попытаемся, как мы пытались и раньше, найти это неуловимое что-то дома, в России. “Что ж, опять надо жить”, — думал я, глядя на плавно плывущие мимо поля, перелески, куртины цветущих черёмух, глядя на подмосковный, неяркий, до боли знакомый пейзаж. И было у меня такое чувство, что мы возвращаемся из игрушечной, праздничной жизни, из какого-то пёстрого, яркого, шумного театра — в настоящую, трудную, русскую жизнь...